

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 38

1981



Михаил ШЕВЧЕНКО

ВОРОНЕЖСКИЙ ВЕЧЕР

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 38

Михаил ШЕВЧЕНКО

ВОРОНЕЖСКИЙ ВЕЧЕР

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1981

Михаил ШЕВЧЕНКО

Михаил Петрович Шевченко родился в 1929 году в селе Сагуны Воронежской области, в крестьянской семье. С самого раннего детства работал в колхозе, а во время Великой Отечественной войны — в частях Советской Армии.

После школы-семилетки окончил Россошанское педагогическое училище, затем — Литературный институт имени А. М. Горького в Москве.

Преподавал в педучилище пение и музыку; более десяти лет был на газетной и издательской работе.

Михаил Шевченко известен как автор книг стихов — «Любовь» (1961), «Спасибо тебе за цветы» (1964), «Моя фамилия» (1975), «Стихотворения» (1979), прозы — «Попутчицы» (1976), «Кто ты на земле» (1977), «Метельная ночь» (1979), «Осенние радости» (1981) и др. Произведения М. Шевченко переведены на ряд языков народов СССР и иностранных языков.

Повесть «Только бы одну весну» удостоена Почетного диплома и медали Всесоюзного литературного конкурса имени Николая Островского. За литературный труд награжден орденом «Знак Почета».

Заслуженный работник культуры РСФСР.

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

Субботный день. Мама рано утром напекла пирожков с картошкой, отец еще вчера вечером принес сметаны из магазина. В моей комнате тесним на столе книги, рукописи, расстилаем газету и ставим на нее миску с пирожками, сметану, суздальские деревянные рюмки, четвертинку и бутылку «Боржоми».

Наливаем по рюмке. Подходит мама и подает тарелку.

— Натя вам и огурчиков. Достояли як раз.

Выпиваем. Огурцы хрустят на зубах. Это у меня. А у отца уже давно не хрустят. Не на чем. Мелко-мелко режет он их на блюде ножом, чтобы есть. Тяжело глядеть на него: стар он стал — девятый десяток начат.

— Ты б, сынок, бабу яку завив,— предлагает отец.

Завести бабу — это поставить на проигрыватель пластинку с ямщицкими песнями или старинными русскими романсами. Любит он, когда их поют Лидия Русланова, Галина Карева, Соня Тимофеева.

Завожу пластинку Каревой. Отец настраивает слуховой аппарат. Откладывает на тарелку пирожок и слушает.

Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые,
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые...

Не выдерживает отец — на глазах встают слезы. Мне кажется, и глаза его поседели.

— Налей, сынок, ще.

Выпиваем еще по рюмке. Приходит в голову спросить у отца, какая у него самая счастливая пора в жизни.

— Вы ж долго прожили,— говорю.

Отец вытирает слезы. Отвлекается от пения. Доедает пирожок.

— Да, це ты правду кажешь. Жизнь моя долгая. От Петра пошел восемьдесят второй... — неторопливо и раздумчиво говорит он, вытирая бумажной салфеткой губы. — Самая счастливая пора... Шо ж, давай с тобою припоминать. Родился я, ты знаешь, в восемьсот

девяносто девятому. Так. Вот с тех пор и начнем. Було мени пять годков — японская война вспыхнула. Нашего батька не тронули. Семья у нас дуже здорова була — уже, мабуть, шестеро малых ползало под столом. А других слободчан брали на войну. Помню, як бабы выли. Ой, як они кричали!.. Потом бабьего крику хватало всю жизнь... Ну, вот. Через год — революция девятьсот пятого. Вроде б и далеко от нас, десь там, в Петрограде да в Москве, а у нашей слободе тот человек семеро пороли. Не знаю, правда, за шо, но пороли урядники, да так, шо ни сесть, ни лечь нельзя було. Дальше — батрачил на Маныче, жил не жил — от тебе четырнадцатый год. Опять война — с германцем. Опять бабий крик. Тут уж забрили Мишу — брата моего. На проводах мама покойная, царство ей небесное, так убивалась...

Отец откидывается на спинку стула и переводит дыхание.

— Ну, а потом... Потом — революция, Февральская, за ней — другая, Октябрьская, за ней — гражданская война... Тут и старшие братья воевали, и мени довелось. Ты ж знаешь, и раненый був я, двое ребер черт-ма, шея пробита пулей. Еле очухался. А в двадцать первом году опять чуть не загинул. Та ще як!.. Приехал после ранения до дому, а дома — хоть шаром покати. Молодша детвора наша сидит без хлеба. А раз хлеба нема, то уже считай, шо голодный. Шо робить?.. Дружок мой Гришка Рылей, отчаянный був парень, и предлагает — махнем на Кубань за хлебом! Ну, махнем — так махнем. Насобирали мы по родне ниток, иглолок, наперстков — всякой чертовы — и поехали. Добрались аж до станицы Каневской и давай бродить по казачьим куреням. За свои погрешушки выменяли по мешку муки да по мешку зерна. К нам прибилося ще трое таких, як мы. Наняли подводу и двинулись до станции. Поначалу ехали степью, а потом пошла луговина, сбоку дороги сухие камыши шумят на ветру. Ехали-ехали, откуда ни возьмись — человек восемнадцать на конях. Оказалось, зеленая банда. Стой, туда-сюда! — кричат. Подводчик наш подмаргивает им. Он-то, мабуть, и навел их на наш хлебец. Окружили нас. Раздели всех. А дело було раннею весною, ще снег не сошел. Шарят по карманам. У наших попутчиков билеты нашли комсомольские, в подкладках пиджаков булы зашитые. А у нас с Гришкой одни удостоверения личности. Ну, тех трех отвели в сторону. Повыхватывали шашки. А мы с Гришкой стоим на месте — босиком, в одном нижнем белье...

Отец умолкает, достает сигареты, прикуривает и глубоко затягивается.

— По гроб не забуду, сынок, той ужас. Порубали тех бедолаг, як ото деревья рубают... Не приведись бачить такое. «Видали? — кричат нам. — А ну катись!.. Не то и вам...» Мы побегали. Бежим и думаем — щас нам в спину саданут из винтарей. Нет. Обошлось. Прибежали в Каневскую и попросились к старушке, у якой квартировали, пока

обменом-то занимались. Старушка нас приняла, спасибо. Дала кой-какую одежонку. Гришка мой — ничего. А я утром не встал — воспаление легких... Пролежал я у той старухи недели три. Выходила она меня. Вернулся в слободу. А тут вскорости и нэп подоспел, а там — индустриализация да коллективизация пошла. В раскулачку смерть ще раз поиграла надо мною. Пальнули в меня из обреза. Я ж був член сельсовета. Ну, ты про тэ время и читал и слушал много. Всякого пришлось хлебнуть... Перед войной уже ничего було. Це ж ты сам помнишь. А потом — война. Да уже такая, шо... Мени почти не пришлось воевать. После всяких ранений белобилетником був. Снятый с военного учета. Так, под конец позвали, трошки в нестроевиках послужил. А кто помолодше...

С трудом встает, подходит к стеллажам с книгами. Бледными пальцами касается корешков.

— Тут на днях взял у тэбэ с полки одну книжку. Федор Тютчев называется. И наткнулся на дуже интересный стишок. От щас найду... Эх, як бы мени в молодости от таких книжек, як оце у тэбэ! Може б, и я не крутил волам хвосты. Хотя, сыну, скажу — землю тож кто-то должен пахать!.. А-а, от она. Нашел. Я тут бумажечку заложил. Послухай.

Читает по слогам:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...

— Пойми: минуты роковые! Колы-сь булы минуты. Теперь целые годы, по-моему. Целая жизнь. И яку пору считать счастливой? Я тэбэ спрашую, сынок. Щас я живу — умирать не надо. Только б войну люди отодвинули от себя!.. Эх, дожждаться б, як оно будэ. Жалко, годов до биса...

Отец бережно ставит томик Тютчева на полку. Возвращается к столу.

— Отвлек ты, сыну, нас от дела, — он лукаво усмехается. — Давай ще под пирожки да под огурчики. И хай баба ще заспивает.

И мы сидим с отцом. Слушаем хорошее пение.

Субботний день. Мама пирожков напекла.

ЛОРДА

Лошадей отец видит теперь только на экране телевизора. В художественных ли фильмах или когда показывают соревнования спортсменов. Побывать на бегах, поехать в родную деревню, где еще можно встретить живую лошадь, отец не в силах. Годы не те. А дома

усядется перед телевизором, встрепенется весь. Через минуту-другую, глядишь, негнуцимися, дрожащими руками подносит платок к глазам...

Любуясь какой-нибудь лошадью, вместе с нею и с наездником беря барьеры, он под конец непременно скажет: «Добра коняка. На Лорду скидается». А ежели лошадь не по духу, машет рукой и уходит курить. «Не-э, до Лорды ей далэ-э-эко!..»

Я помню Лорду за полгода до вступления отца в колхоз. Яркий летний день. Лорда стоит у повозки посредине двора. Большая, серая, в темных яблоках. Стоит и хрумкает овес, переминается с ноги на ногу, хвостом смахивает оводов с пышного своего крупа.

Я ковыляю к ней, приседаю у задней ее ноги и тереблю рукой мычку. Лорда поворачивает ко мне морду, смотрит на меня, перестав жевать, и осторожно отступает в сторону. Я снова подбираюсь к ноге и тереблю щекочущую ладонь мычку. Лорда снова оглядывается и отступает еще дальше от меня.

Отец, выйдя из хаты на крыльцо и увидев меня у ног Лорды, бледнеет и застывает на месте. Чего доброго, лягнет она, и... Но Лорда будто понимает волнение отца, поворачивается к нему и тихо ржет. Не бойся, мол, не трону мальчика.

К Лорде отец шел долго. Вспоминать его путь и смешно и горько. Ему едва минуло двадцать три, когда дед-портной ушел в Донщину на заработки и там пристал в приимы. Бабушка, мать отца, умерла года за четыре до этого. Остались на попечении отца три сестры и два брата, а в хозяйстве — один бычок — отец выменял его за закрома. В первое лето молодой хозяин без батька, как говорится, накопил пять возов сена. Сосед, видя такое дело, попросил отца кормить зиму трех его бычков, за это весной отец берет любого из них себе. Отец подумал-подумал и согласился. К своему бычку да еще бычок — это уже пара быков во дворе.

Всю зиму он как черт крутился. Зато по весне за двух бычков выменял у Алешки Заворотного жеребца Чалого. С лошадью — ты уже мужик!

Начал отец подзарабатывать на жеребце. То в сельсовете, то в кооперации, то на вальцовке — была такая в слободе, немцами построена еще до революции. Там подвезет, там отвезет — все хлопчишкам на молочишко.

А раз поехал отец на Чалом на базар. А на базаре цыгане, целый табор. И приглянулся им отцовский жеребец. Они к отцу — продай да продай. Отец — ни в какую. Тогда цыгане — давай меняться, хохол! Выставили четверть водки. А отец выпить был не дурак. Хватил стакан-другой... Кончилось тем, что всучили ему цыгане кобылу, а сами Чалого за узду — и были таковы.

Кое-как добрался отец на кобыле домой. Черт знает, что за животина! То на базарные прилавки прется, то в бурьян, то за базаром в канаву чертанула, и он туда же, через ее голову. Дома протрезвел и посмотрелся: цыганская кобыла слепая. Он — на базар, он — на рынок за слободой. Хе-хе, цыгане знали, что делали. Их и след простыл.

Недели через две к отцу появился в гости двоюродный брат Иван Ерш. Он жил на хуторе, верстах в восемнадцати от слободы. Тоже заядлый лошажник, тоже не любитель выпить. Сели они с отцом за стол. Слово за слово. Давай меняться лошадьми! «Добро! — сказал Ерш. — Магарыч с тэбэ!» «По рукам!» — ответил отец — и бутылку на стол.

Взял Ерш у отца слепую кобылу, а отцу оставил свою — хромую. «Черт с ней, — думал отец, оглядывая ее худобу. — Кривая — не слепая. Сама крупна. Грудь — для запряжки. Выхожу!..» А Ерш в дороге спохватился. Вернулся к отцу. «Мало, — говорит, — магарыча. Давай додачи!» Добавили за столом. Дал отец Ивану четвертную, на том и поставили точку.

«Ладно, Петрусь. Быть по сему! — пьяно прощаясь, рубил Ерш. — Ты бережи кобылку. Я ее с Лордом случил! — Ерш поднял перед носом отца желтый от махры палец. — Будешь ты с лошонком!..»

Отец знал Лорда. Мировой был жеребец. И стал отец с душой выхаживать кобылу. Кормежку добывал ей добрую — и ячменя, и бурака, и макухи. Чистил ее, холил. Вскорости у нее спина залоснилась. Заметнее стало: и правда, кобыла жеребая. Отец перестал на ней ездить.

А где-то после рождества хромая ожеребилась, принесла дочку. Ну, раз дочка, пускай будет Лордой, решил отец. По жеребцу.

С детства Лорда была дьявольски хороша. Серой масти — в жеребца, тонконогая, с веселыми глазами. Души не чаял в ней отец. Все лучшее — ей. Сам, бывало, молока не выпьет, хлеба не съест — Лорде несет. Непогодь зайдет — фуфайкой, а то и одеялом укроет ее, в хату возьмет на ночь. И она привязалась к отцу как ребенок. Куда отец, туда и Лорда. Не успеет он поутру открыть дверь сарая, она уж навстречу. Обнюхает карманы — что там в них лакомое. Ведет отец на яр поить ее, так она — дьявол! — снимет с него картуз и ну играть им. Пустится в галоп с картузом по улице — грива на отлете. Вернется вроде бы отдать картуз отцу. Только он к ней, а Лорда — опять в сторону. Наиграется, отдаст наконец картуз, положит голову отцу на плечо и щекочет губами ему шею.

— От чертыка! — восхищались мужики. — Це ж не животное, а прямо людына!..

Шло время. Уже стал отец ездить на Лорде и верхом и в упряжке. Кнута она не знала. Стоило чуть тронуть поводья, пошевелить

вожжами, Лорда понимала, что от нее требуется. Старательная была. За всю ее жизнь лишь один раз отец ударил ее.

Дело было так. Как-то зимой — Лорде было уже около трех лет — участковый милиционер Орлов попросил отца свезти его на станцию к поезду на Воронеж. До станции семь верст. Пассажирский шел в два часа ночи. Отец согласился. В час запряг Лорду в санки, надел тулуп, кинул кнут в передок (на всякий случай, больше для порядка), и минут через сорок они были на станции.

Простившись с Орловым, отец завернул к Семеновне. Проживала на станции такая старушка. Заедешь к ней в ночь-полночь, у нее и выпить найдется, и яшенка поспеет к чарке. Пропустил отец стаканчик, зажевал глазуньей и — в дорогу.

От станции дорога идет в гору, до самого Долгого Яра, — версты полторы. Отец, слегка захмелевший, поудобнее уселся в санках и закутался в тулуп. Лорда спокойно пошла.

Ночь светлая — хоть иголки собирай. Снег поскрипывает под копытами и под полозьями. Мороз крепкий, градусов под тридцать. Луна над головой — в огромном круге, стало быть, ждать надо еще большего мороза.

Поднялись на гору. Поравнялись с Долгим Яром. Жутковато в степи одному. Борясь с дремотой, отец напряженно оглядывался вокруг. Обычно если что случилось, то как раз у Долгого Яра. Тут и грабили и убивали — все было.

И вдруг ухо резанул длинный свист где-то впереди. Отец вскочил на колени. Впереди на дороге чернела фигура человека. Недавно же смотрел — никого не было, и вот... Повернуть назад? Под гору Лорда в два счета докатит до станции.

Оглянулся. А сзади — дыханье слышно! — настигает санки другой мужик. Бежит тяжело. И главное — молча.

У отца хмель как рукой сняло. Все ясно. Следили. Сосвистывались. Выход один — гнать Лорду вонсю.

Рывком тулуп с себя. Кнут — в руку. Дернул вожжи.

— Ну, Лордик! — Отец вроде бы крикнул, но не услышал собственного голоса. Язык во рту как не свой.

Лорда вскинула голову и взяла рысью.

Тот, на дороге впереди, раскинул руки — ловить, значит, собрался. У отца мороз по коже. Не испугалась бы Лорда! Испугается, рванет в сторону, в сугроб, — санки набок, и все тогда...

А задний тем временем догнал-таки санки, ухватился рукой за решетку и попытался вскочить на планку между полозьями. Но это ему не удавалось. И планку плохо было видно в тени за решеткой, и не успевал он за санками.

И все же сильный был, сукин сын! Сумел и другой рукой уцепиться за решетку и прыгнул на планку. Планка, на счастье отцу, — хлоп — и переломилась. Споткнулся задний, но не упал и, держась за решетку,

продолжал бежать. Отец отпрянул к передку, ударил кнутовищем по рукам, но тот не отставал.

Отец взглянул вперед. Расставивший руки был виден в полукруг дуги. То грива закрывала его, то он снова показывался, быстро приближаясь. Метров за пять до него отец что есть силы ударил Лорду по ногам кнутовищем. Лорда взвилась и прямо прыгнула на того — впереди. Он мелькнул у нее под ногами, взвизгнул под санками и сбил собой бегущего сзади. Задний повис на руках и волочился за санками.

Отец иступленно бил кнутовищем по его рукам, и тот не выдержал, отцепился и — кубарем по дороге.

Сгоряча вскочил и заорал вдгон хрипло:

— Ну, т-твою мать, нехай!.. Попомни!..

Отца знобило как в лихорадке. Он еще не верил в спасение. Лорда неслась, как безумная. Ключьями летела пена с удил.

Дома, выпряженная из санок, Лорда вся дрожала. Пар валил от нее столбом. Отец укрыл ее попоной и до утра водил по двору. Его душили слезы. Но он не в силах был плакать. Он прислонялся лицом к горячей Лординой шее и выдыхал одно лишь слово:

— Спасла... Спасла...

Наступала коллективизация. В слободе создавался первый колхоз. Отец решил — вступать.

В один из дней уходил на работу, на вальцовку. Уже вышел за ворота, вернулся и сказал матери тихо:

— Должны прийти из колхоза... Если без меня, хай берут Лорду. Хай все берут: и корм для нее, и сбрую — все. Поспокойней будь.

Мать молчала. С работы отец вернулся засветло. Не увидев во дворе санок, повозки и водовозни, он спешно прошел в сарай. Лорды тоже не было.

В хату не стал заходить. У крыльца приостановила мать — вся в слезах.

— Ужин готов, — сказала.

Отец не ответил, пошел в бригаду — через улицу перейти. Возле правления колхоза гудела гурьба мужиков. В кругу их Лорда. Иван Хитрый, широко расставив по-медвежьи косопалые ноги, нагибал ей голову и хватал за челку, а Санько Пикула поднимался на носках и, кряхтя, завязывал ей глаза какой-то черной тряпкой.

— Що вы це робите? — спросил отец.

— Да ты же оцe выросыв сатанюку! Не йдэ в колхозную конюшню, хоть ты сдохни! — забубнил Санько.— Мы ей тут и батога давали, и вожжамы — нияк! Да оцe решили — глаза ей завязать да тоди и вести...

— Ты лучше б себе кой-шо завязал...— ругнулся отец. Лорда услышала его голос и враз поставила уши.— Хиба ж так обращаются с лошадью?.. Лорда!

Лорда рванулась на дыбы. Иван упустил из рук повод. Санько, бросив тряпку, попятился. Мужики расступились.

Лорда подбежала к отцу, положила ему голову на плечо и всхрипнула. Он погладил ее, потрепал за гриву и пошел по двору. Лорда выгнула шею, ухватилась зубами за рукав отцовской фуфайки и пошла рядом.

Отец прошел по кругу двора, дошел до ворот на улицу и приостановился. В ворота был виден угол нашей хаты, окно с открытой ставней, распахнутая калитка. Лорда скосила глаз на улицу, бросила рукав, заржала и повернулась к отцу.

Примолкли мужики и насторожились.

Отец повернул от ворот в глубину колхозного двора, прошел мимо мужиков молча в конюшню. Лорда пригнула голову в дверях и вошла следом за отцом.

В конюшне он привязал ее поводом к станку. Лорда обнюхивала отца и тихо ржала.

Не глядя ей в глаза, он постоял, подождал, пока не просохли слезы, и вышел из конюшни один.

В колхозе отец работал в мастерской по изготовлению вошины для пазек. Ездить на лошадях ему почти не приходилось. На Лорде ездили другие. Но она помнила отца. Когда привела жеребенка, никого не подпускала к себе. Позвали отца, он ухаживал за ней. После старался держаться от нее подальше. Только ржание ее слышал. И наяву — когда бывал возле конюшни, когда Лорда проходила мимо нашего двора. И во сне.

Слышал через многие годы.

В тридцать третьем голодали не одни люди. Голодала и скотина. Лорда ожеребилась во второй раз. Худючая была до невозможности. Лишь мослы торчали. И однажды в ночном напали на нее волки. Лорда не смогла отбиться, и они крепко порвали ее. Так крепко, что она не оправилась...

Много воды утекло с тех пор. Отец уехал в город, стал рабочим. Почти за полвека городской жизни никогда уже не имел дела с колхозным хозяйством, с лошадьми. А вот, поди ж ты, увидит на экране опушку леса, пшеничное поле, табун на лугу — и сразу в воспоминаниях Лорда...

БАБУШКА ЩИПИКА

Родных бабушек своих не застал я на земле. А бабушка Щипика (не знаю, откуда у нее пошло такое прозвище) была в моем детстве каждый день, до тех самых пор, пока меня, семилетнего, не увезли жить в город.

Когда я появился на свет, бабушке Щипике по метрикам было за восемьдесят. Она жила одна, но ни в чьей помощи не нуждалась. Во всяком случае, так казалось всем. Она сама копала свой огород, сама сажала на нем картошку, кукурузу и подсолнухи. Перед окнами на улицу у нее росли мальвы.

Бабушка никогда не жила только своими заботами. Она всегда кому-нибудь из соседей в чем-то помогала. Один просил ее понянить дитё, другой — проводить корову в череду, третий — встретить телку из череды...

Меня бабушка почему-то звала Шведой. Когда я убежал с хлопцами из дому и мать, сбившись с ног, искала и не находила меня, бабушка Щипика помогала ей в поисках и приговаривала:

— От Шведа!.. Куда ж вин зальвса?..

Под ее призором я был долгие летние дни, когда мать с зари до зари работала на колхозных полях. То в сад ко мне придет и принесет вкуснейший краец хлеба, то позовет к себе в сад и предложит грушуду — вот такенную, с кулак; у нас тоже были груши, но ее почему-то казались вкуснее. Но самое что ни на есть вкусное было у нее — это тюря. В глиняную чашку наливала она родниковой — из яру — воды, клала туда ложки три сахару-песку и крошила хлеба. Ах, какая же это была вкуснота!..

Когда мы с матерью сажали огород, мать копала лунки, а я бросал в них картошки, обычно перерезанные надвое, — чтоб можно было больше посадить. Мать наказывала класть картошку порезом к земле, — ростку тогда легче всходить. Это значит, надо было нагибаться над каждой лункой. И хотелось бросить все и сбежать куда-нибудь с ребятами. Бывало, я изводил мать нытьем: «Ну, скоро ли кончим?.. Скоро ли, мамо?..»

И тут-то появлялась у плетня, разделяющего наши огороды, бабушка Щипика.

Она тотчас замечала мое нетерпение и нерадивость и заговаривала с матерью. И было смешно, как она, к кому бы ни обращалась, не называла сразу точное имя.

— Машко, Пашко, тыфу, Гашко... Ну, хай ему грець, Грунько! А знаеш, у тэбэ така гарна картошка будэ!

— Дай-то бог, бабусю, — отвечает мать. — А чего вы так решили?

Бабушка обопрется на плетень, положит на него свои сухие, длинные, будто вытянутые вечными тяжестями, руки.

— Та як це чего? Хиба ж ты не знаешь? Ото коли сажает картошку дытына, да ще, знаешь, ото старается получше положить ее в лунку, — о-о, тоди картошка уродится така, шо один куц выкопаеть и — целое ведро. От як!

Мать разгибается с трудом — болит поясница: и в колхозе с утра до вечера и дома останется на какой день, так забот хватает, — и улыбається бабушке. А та добавит:

— Ты бачишь, по всей улице ни одного хлопца, ни одной дивчины немає на огороде. А твой Шведа помогае. От молодец! Будете с картошкой!..

И незаметно уйдет.

А уж я стараюсь. Стараюсь вовсю. Мать поглядывает на меня повлажневшими глазами. Бабушке скажет вослед:

— Спасибо, бабуся, за доброе слово.

Бабушка спасла жизнь деду моему Якову Ивановичу. Дело в том, что старшие сыны его — дядя Миша и дядя Ваня — в гражданскую войну командовали красными бронепоездами. Об этом, конечно, все знали. Сыны не раз заявлялись на побывку домой. И когда село заняли белые казаки, кто-то понаушничал. Осатанелый казак влетел в дедову хату, дед сидел за швейной машиной — он всю жизнь портняжил. Казак выволок его за бороду во двор.

— Где твои выродки, красная сволочь? — орал он.

Дед, бледный, поднялся на ноги и спокойно ответил, держа в руке иглолку с черной ниткой:

— Не знаю. Мабуть, там, дэ им надобно быть, там и есть.

— Што-о!.. Зарублю, старый кобель!..

Казак занес над дедовой головой шашку.

И тут бог знает откуда под казачью шашку ринулась бабушка Щипика. На руках у нее был самый младший из дедовского семейства — дядько Леонид. Рядом бухнулись на колени перед казакон — тоже тогда еще девчущки — тетка Маруська и тетка Анька.

— Кого ж ты рубаешь? — закричала бабушка. — Ты бачишь, у его их двенадцать душ? Тоди ж и их рубай, сук-кин ты сын!..

Она подняла ревущего дядьку Леонида под самую шашку.

И дрогнул казак. Швырнул шашку в ножны. Выругался остервенело.

— Ну, с-старый, молись за нее! — Он метнул на бабушку жгучий взгляд и — пулей со двора.

Заводилой была бабушка Щипика в колхозе. Случись надобность коровник побелить или амбары прибрать под новое зерно, бригадир шел к бабушке. Она пробегала по улице, и все бабы, побросав домашнюю работу, сходились управить колхозную нужду.

Чуть умаются, бабушка вынет откуда-то большой — от прялки — гребень, возьмет его в руки, как балалайку, и зальется:

Сыдыть баба в курени
Та й считае трудодни.
Ой, гоп-трудодень —
Заробыла кило в день!

И бригадир, бывало, хохочет. И бабы хохочут до коликов. А она уже выдает новую частушку, тут же по ходу составляя ее.

Ой, гоп-трудодень —
Заробыла кило в день.
Хоть и хлиба не дадут,
Так у табель заведуть!

Бригадир утирает от смеха слезы. Бабы, как-то помолодев на глазах, орут:

— Так их, бабуся! Крой им правдочку!

А она в ответ:

Погуляю по Шпилю¹ —
Та нови песни стулю.
От тоди — хай люды ждуть! —
Вже ж да шо-нибудь дадуть!

Валится со смеху бригада. А бабушка мечется с гребнем, тоже помолодевшая и неугомонная.

Помню еще рассказ матери о ней.

Муж у бабушки Щипики был пьяница. Пил каждый день. И каждый день, придя домой, бил ее. Бил страшно. Она вечно ходила в синяках. А он избьет ее, упадет на кровать, не раздеваясь, и — как мертвый. Она, молча переносит побои, и сапоги с него снимет, и разденет его, и уложит. Чтоб завтра снова быть битой.

Рожала она двадцать два раза. Семнадцать детей умерло друг за другом, сразу после родов. Куда там им было жить, когда муж отбивал все нутро. И только пятеро сынов выжило. Были они надежей ее и опорой. Светом были сыны в ее оконце.

А с мужем жизнь продолжалась прежняя. Как придет домой, так битье.

С отчаяния она и утопиться хотела и повеситься. Не вышло. Бог, говорила она, не допустил. Как сама рассказывала, только, распатланная, в разорванном платье, побегала однажды к ставке за садом, только перекрестилась, чтоб прыгнуть в воду, да ка-ак поскользнется, как трахнется затылком об землю. Лежит навзничь

¹ Шпиль — название поля. (Прим. автора).

недвижная и думает. Куда ж ей прыгать? Сынов-то на кого оставит, дура?..

В другой раз вырвалась из пьяных мужниных ручищ, схватила бельевую веревку да в сад. Подбежала к первой же яблоне, накинула веревку на ветку, петлю — на шею. Да только повисла, а ветка возьми и обломись...

«Нет, не судьба мне наложить на себя руки, — порешила бабушка. — Богу не угодно».

И она долго еще терпела мужнино битье. Но раз, когда Дмитро Федорович пришел пьяный и двинулся на нее с кулаками, она, сама себя не помня, бросилась ему навстречу.

— Да будь же ты проклятый! Шоб ты пропав! — закричала она и толкнула мужа тоненькими своими руками в грудь, но так, что муж не удержался на пьяных ногах, упал на решетку кровати, охнул, обмяк и свалился на доливку. Середь ночи кое-как взобрался на постель.

На другой день он не встал. Не встал и еще через день. Не встал и через неделю.

«Господи, да шо ж я ему нажелала? — казнилась бабушка. — Да кого ж я проклинала? Це ж вин из-за мэнэ занедужив».

А Дмитро Федорович смиренно лежал на кровати. Лежал за долгие годы спокойный и трезвый. Бабушка ходила за ним, как за дитем малым. А как пришел день умирать Дмитру Федоровичу, бабушка упала перед ним на колени:

— Просты мэнэ... Просты, Дмитро Федорович. Може, я виновата в твоей смерти.

И она поведала ему, как ругала его, как желала ему погибели.

Дмитро Федорович глянул на нее сквозь слезы и сказал:

— Просты ж и ты мэнэ, Марья. Обижав я тэбэ. Та як обижав...

Бабушка пережила мужа лет на тридцать пять — сорок. Растила сынов. Они оперялись и улетали куда-то в город на заработки. Погостевать к матери заявлялись редко. И редко приносила ей почтальонша треугольнички их писем.

Умерла бабушка Щипика 22 июня 1941 года — в день своего девяностолетия. Порой я невольно думаю, что умерла она вот почему. За свой долгий век бабушка Щипика пережила шесть войн: две с турками, одну с японцами, и первую мировую, и гражданскую, и финскую... Похорожки на четырех сынов вместе с их пожелтевшими письмами хранились у бабушки за иконой. 22 июня, как известно, начиналась новая война, седьмая в ее жизни. И эту, седьмую, она переживать не захотела.

Пришла с огорода домой. Посидела на крыльце. Пообедала. Положила на деревянный диван подушку, прилегла вроде бы отдохнуть и больше не встала.

Хоронила ее вся наша Садовая улица. Только сын не приехал на похороны. Наверное, некогда было.

ДЕД ПОЛЯК

Отец рассказывал.

Жил в нашем селе дед Поляк. По-уличному его так звали. А подлинная фамилия — Поляков. Здоровый необыкновенно. И, конечно, с чертячьей силищей. Было у него три сына. Один в одного, как на подбор. Плечистые, рослые. Все — в батька.

А семья была бедная. Кто побогаче — глядишь, дразнят поляковских ребят за что-либо. Это еще когда они мальцами бегали. Дед, бывало, поймает обидчика, снимет с него шапку и на выгон. А на выгоне на камнях амбары стояли. Посевное зерно хранили там. Так дед Поляк подойдет к амбару, поднимет за угол и положит шапку под основу.

Прибежит отец обидчика. Смык-смык, что поделаешь? Сил-то не хватает высвободить шапку.

Идет на поклон к деду.

— Ослобони малахай, Трохимыч! Сделай милость!

А дед усмехается в свои рыжие усы.

— Четверть самогонки поставите, ослобоню.

Несут ему четверть. Гуляет дед с такой же босотой, как сам. А обидчику порка дома.

Раз сыновья Поляка, уже подростки, поехали за снопами. Дед сидит возле хаты, дымит самокруткой. Подбегает на коне сосед.

— Диду, там сыны твои застряли в яру.

Дед тут же — палку в руку и подался на яр. Это верст семь с гаком. У самой чугулки, туда, аж за Шпиль. А там, по-над яром, тучки бродили, видно было — добрый дождик спускался. Эх, не управились сыны до дождя.

Бежит и думу думает: «Боже мой, кобыляка задушится — соберу капиталу да ще куплю. Гарба сломается — ще зроблю. Да не дай же бог шо с хлопцами...»

Сынов растил дед в одиночку. Жинка, покойная Марфа Захаровна, лишь народила их да и попрощалась со всеми. Тиф скосил ее. Андрей Трофимович оставался вдовцом. Не нашел другой такой, как Марфа Захаровна. И вставала раненько и за детворой глядела хорошо. Хоть ели не всегда досыта, так ходили в чистоте. Сама шить

выучилась, чтоб ребят водить опрятно. И не только своих — соседских обшивала. Труженица была. Шьет, бывало, пальтишко или кофтенку, так сто раз напялит на деревянную статую (как-то она мудрено ее называла), и уж оглядит кругом, подровняет да подошьет. Надо же, чтоб одежда сидела получше на человеке. Все соседи добрым словом поминали покойную... Где же сыщешь еще такую? Нет такой. Сподручней одному.

Встанет, бывало, дед утром, подойдет к статуе. А та статуя наряжена дедом в Марфино платье и фартук, повязана ее платком.

— Ты бы, Марфуша, — скажет, — в хате подмела.

Молчит Марфа.

— Ну, ладно, я сам, — скажет дед Поляк и возьмется за веник.

— Ты б, женушка, завтрак хлопцам сготовила...

Нет ответа.

— Ну, да я сам.

Дед закатывает рукава рубашки и становится к печи.

— Ты б, родная, детворе простынки простирала... Тоже не можешь? Ну, я сам!..

И так не один день, не один месяц, не один год. Менял дед одежду на статуе, а заботы не менялись, только все больше становилось их. И не знаешь, откуда придет новая. Вот вроде бы все, как должно быть. Так на ж тебе — беда с хлопцами!..

Ног не чует под собой — бежит дед на яр. Издали еще завидел — у криницы стоит арба. Ясно. Из криницы ручьишка вытекает. В непогоду преграда на дороге.

Подбегает. Пот со лба рукавом. Вдыхает облегченно. Колеса арбы по ступицу в грязи. И кобыла в грязюке выше колен. Но сыны, слава богу, живы-здоровы. Один дергает за вожжи и машет батоном над взмокшей кобылой. Двое других сзади подмогают. Арба же со снопами до неба — добрый воз наложили хлопцы! — ни с места.

Дед Поляк взял у сына вожжи.

— А ну ступай и ты, сынок, назад. Подсоби.

И так ласково к кобыленке:

— Ну, голубушка! Ну, ще разочек. Эх, сестра, не те силы. Да? Ну, ладно-ладно. Не будем тебя мучить.

Дед выпряг кобылу. Она отошла в сторону, понурилась. Взглянул на ее спину — следов батога нет. Молодцы — не били скотиняку. Разве тут битьем можешь, коли сил не хватает? Молодцы — жалели животину.

— Ну, отдохни, родимая. Отдохни, голуба.

Дед перевязал вожжами оглобли. Снял с себя рубаху. Ветер загулял во взмокших волосах на широченной груди.

Впрягся дед в арбу.

— Ну, хлопчики, подмогнить батьку!

Сыны все трое уперлись сзади в арбу. А дед перекрестился и потянул. Напрягся весь, то вправо подал, то чуть влево. Сдвинул с места.

И запел:

Зять на теще
Капусту возив,
Молоду жену
В пристежке водив...

Пошла арба. Пошла!

Дед вывез ее аж на взгорье. Кобыла топала следом.

Дед остановился, вышел из упряжки. Вытер ладонью пот на лбу. Подошел к кобыле и погладил ее по храпу.

— Бедняга! Куда ж тут тебе вытянуть, як я сам насилу вытянул!..

ОСЕННИЕ РАДОСТИ

Этого они ждут оба. И вот в один из сентябрьских дней она, скажем, уже не в силах ждать, звонит и спрашивает:

— Когда?

Он отвечает:

— В эту пятницу. Возможно?

— Хорошо. Где и во сколько?

— К шести на Киевском. У пригородных касс.

В пятницу без двадцати шесть вечера он подъезжает на такси к пригородным кассам Киевского вокзала, идет к цветочному базару. Берет ее любимые астры и бережно укладывает в портфель. Там лежат купленные заранее легкое вино, колбаса, российский (ее любимый) сыр, рижский (тоже ее любимый) хлеб, шоколадки и конфеты «А ну-ка, отними!»

Она появляется без десяти. Она всегда приходит вовремя. Если бы и жена приходила так же! Боже, сколько он потерял бесконечных часов на ожидание ее!

Она выходит из метро в потоке людей. Но он сразу видит ее. Она ничуть не изменилась за месяц. Она по-прежнему как девочка. Высокая, тоненькая, с короткой стрижкой; белый плащ все тот же; все тот же розовый шарфик небрежно свисает с плеча. Очки новые, модные — с большими окулярами. Ему такие не нравятся, но ей они идут. Кто мог бы сказать, что у нее двое детей, сын почти взрослый?

Его она тоже замечает сразу, вернее его седую и потому, как она считает, красивую голову. «Мой князь Серебряный!..» — говорит она

про себя и чувствует свои слабеющие от волнения руки. Она привстает на цыпочки и целует его в щеку.

«Девчонка... Современная девчонка — не стесняется поцеловать при всем честном народе», — думает он с восхищением. Берет у нее сумку, берет ее под руку, и они поднимаются на перрон.

«Боже мой, — думает она. — Ну, почему э т о г о никогда не делает муж? Почему э т о не приходит ему в голову?.. Ах ты, мой князь Серебряный!..»

Едва они всходят на платформу, подают их электричку. Он торопливо отдает ей сумку и портфель и вместе с толпой штурмует вагон. Очень хочется ему, чтоб она сидела.

Глядя, как он втискивается в толпу, как, улыбаясь, оглядывается на нее, она думает: «Он еще такой молодой!..»

В вагоне она садится к окну. Она любит сидеть у окна. Он садится напротив. Берет ее руки в свои и шепотом говорит:

— Ну, здравствуй!

— Здравствуй! — шепчет она.

Он достает из портфеля астры и протягивает ей. Она сияет, как всегда, когда он дарит ей цветы.

— Мы далеко? — спрашивает она.

— В Калугу, — говорит он.

Она бьет в ладоши.

— Я же давно-давно хотела в Калугу! Как ты узнал?

— Вот видишь, узнал.

— Да нет, в самом деле! — горячо шепчет она и касается рукой его щеки.

Они молча глядят друг на друга. Они не глядят больше ни на кого. Они не замечают, что иногда на них смотрят. Она прижимает астры к груди, потом достает из сумки большое красное яблоко и дает ему. Он раскалывает его пальцем на колене и половину возвращает ей. Вынимает из портфеля конфеты.

— С яблоком хорошо! — шепчет он.

Они едят и молча смотрят друг на друга.

Смеркается. В вагоне зажигают свет. Она доедает яблоко, зажимает в руке косточку, прислоняет голову к стеклу окна и закрывает глаза. Она устала за день. Он знает это. Он берет у нее косточку, наклоняется и незаметно целует пахнущую яблоком ее ладонь. Она ею легко зажимает его щеки.

Вскоре она дремлет, покачиваясь в такт колес, слегка приоткрыв губы.

Он глядит на нее и хорошо думает о ней. Он не знает толком ее работу. Не спрашивает о работе. Знает только, что эта хрупкая женщина бывает крепкой при решении участи людей. Он знает доброе ее сердце и знает ее справедливость в таких решениях. Он замечает

новые морщинки на переносице и думает, что и сам становится все белее.

В Калуге их встречает Саша, старинный — еще с институтских времен — друг. За скуластое лицо Сашу звали Монголом. Монгол не стал инженером. Монгол — художник. И хороший художник. Его пейзажи не раз хвалили на выставках. Когда-то о Саше он ей рассказывал. Она вспоминала об этом при знакомстве у вагона.

Саша — с машиной. Их везут по ночному городу. Он кажется праздничным. Всюду огни, огни...

В гостинице заказано два номера. Пока она располагается в своем, он и Саша накрывают в его номере стол. Она приходит с астрами, когда на столе готовы бутерброды, порезаны помидоры (их приносит Саша), наломан шоколад.

Они выпивают за встречу. За знакомство.

Саша торопится уйти. Дескать, вы устали с дороги. Они не отпускают его. Им хорошо с Сашей. Он рассказывает о Калуге, о ее достопримечательностях. Завтра они непременно посмотрят их.

Наконец Саша уходит. Они провожают друга до выхода из гостиницы. Возвращаются в его номер.

Он обнимает ее, касается щеками ее щек, целует.

— Ну, здравствуй!

— Здравствуй! — шепчет она и, закрыв глаза, прижимается к нему.

Утром он просыпается оттого, что чувствует на себе взгляд. Она, приподнявшись на локте, смотрит на него. Смотрит такая, как есть. Сейчас она только умоется и причешется. Ей не надо никаких красок. У нее все свое. Он любит ее и за это.

— Здравствуй! — шепчет она и щекочет ему ухо и шею своими упругими каштановыми волосами.

— Здравствуй! — отвечает он и целует ее волосы.

За завтраком в буфете они легко иронизируют друг над другом. Они много едят. И это, оказывается, смешно.

В одиннадцать звонит Саша. Через полчаса они встречаются с ним в вестибюле гостиницы. Саша возит их по городу. Потом они переезжают реку, поднимаются на гору и любуются осенним городом. Потом едут в музей-квартиру Циолковского. В музей вот-вот придут иностранные гости. Никого не пускают. Но Сашу знает директор музея. Саша говорит, что он тоже привез важного гостя, — Саша имеет в виду его, известного инженера и лауреата. Их проводят в музей, и они в восторге от музея. С радостью накупают открыток — для всех-всех, прежде всего для своих ребят.

Потом они едут в музей космонавтики. Потом наслаждаются видом лесных далей.

К двум часам Саша везет их к себе. По пути заезжают в магазины. В промтоварном покупают детям шкатулку и сборный корабль, в продуктовом — водки, сухого вина. И конфет. И еще чего-то.

Обед проходит весело и шумно. Она трещит без умолку. Помогает во всем Сашиной жене с таким рвением, как будто сто лет не была на кухне. Он с радостью отмечает, что Сашина жена и сам Саша восхищены ею, простотой ее и обаянием. Он гордится собой за это, хотя никому бы в этом не признался.

После обеда они едут куда-то за город. Останавливаются на крутом буром обрыве со старыми дуплистыми ветлами над рекой. Все долго и молча смотрят, как вода уносит падающие багряные листья. В Саше заговаривает художник.

— Вы бы мне попозировали, а? — просит он ее.

— Нет, Сашенька, извините. У меня не хватает терпения.

К вечеру они снова в городе. Прощаются с Сашей. Переполненная впечатлениями, она целует Сашу.

В номере она рассматривает шкатулку для своей младшенькой. Представляет, как та будет рада подарку. Как ляжет спать со шкатулкой. Как будет складывать в нее свои фантики — обертки от конфет и жевательной резинки.

— А вот это твоему художнику, — подает она ему фломастеры. — Саша сказал, очень хороши.

Он не заметил, когда она купила их. Он смотрит на нее с благодарностью за память о его сыне.

Ночью она срывается в плач. Срывается внезапно и плачет навзрыд.

— Ну, пойми же, мне хорошо с тобой. Но почему т а к? Почему? Завтра же надо возвращаться в ложь, в расчет, в укору, в холод. Не хочу! Не хочу-у-у! Кого мы обманываем? Не их. Себя. Себя-я!

Она вскакивает, откидывается к стене. Ему видны слезы на ее щеках.

— Мне хорошо, ты слышишь? — кричит она. — Не хочу уходить от тебя! Не хочу!

Он сжимает ей руки. Он молчит. Он может сказать ей то же самое.

— Боже мой, но Дашка любит его! И я не могу ее лишить любви! Почему т а к? Господи!..

Он обнимает ее. Постепенно она успокаивается.

— Ой, какая я дура! Я же счастлива, что люблю тебя! У других и э т о г о нет. А я счастлива! Счастлива! Пусть хоть т а к! Прости меня!..

Он может сказать ей то же самое.

Утром их провожает Саша. Все едут на вокзал. Но поезд ушел раньше: Саша, оказывается, перепутал расписание.

Все смеются над этой незадачей. Едут на другой вокзал — товарный. Оттуда тоже идут электрички. Берут билеты. До отъезда

полтора часа. Едут в ближний лес, и тут выясняется, что у Саши есть скатерть-самобранка. Ее расстилают на капоте.

В электричке они притихшие и молчаливые.

— Слушай, я забыла у тебя астры,— говорит она грустно.

После паузы:

— Ну и пусть. Кого-то поселят. Может, он обрадуется? Правда?

Он молча смотрит на нее. Он хочет запомнить ее.

В Москве они прощаются в метро. Прощаются до следующего их праздника. Когда он будет, они не знают. Верят только, что будет.

АХ, ПОЧЕМУ Я НЕ ЛЮБИЛ ЯБЛОК!

Она уже поддумывала щеки и красила губы. Тося Турочкина. Она уже выщипывала брови, тогда это было модно. Черненькой ниткой повисали они над ее грустными карими глазами. Хотелось сказать ей, что она напрасно выщипывает их. Брови становились чужими на ее красивом, как мне казалось, лице. Но сказать так я не мог. Я не отваживался говорить с ней.

Тогда, за год до окончания войны, я учился в седьмом классе. Тосю видел второе лето, приезжая из города в родное село к родичам. Я молча, чаще всего издали, любовался ею и боялся, что она догадается об этом.

Тося тоже гостила у тетки. В то лето окончила десятый класс и собиралась в вуз. С деревенскими ребятами она была одинаково обходительной и приветливой. Обычно она неслышно шла рядом с кем-нибудь из них. Шла, замедляя шаги. Казалось, вот-вот остановится, выдернет руку из-под мальчишеского локтя и уйдет. Но такого не случалось. Тося не останавливалась. Ребята по очереди водили ее в кино, в лес, на пруд. Потом рассказывали друг другу о прогулках с нею.

Но в то лето из райцентра стал наезжать приятель моего брата Николай Скрынник, высокий, плечистый, белобрысый парень в черном костюме военного покроя, с ореховой палкой. Он был ранен в ногу и не так давно приехал из госпиталя домой на поправку.

Тося сразу же оставила сельских ребят и открыто, никого не стесняясь, гуляла с Николаем. Я втайне завидовал ему, жалел, что не воевал, и терзался ревностью. Особенно когда как-то среди дня увидел их в колхозном саду за копной сена. Они лежали под яблоней. Рукой с крохотным, сверкающим на солнце перстеньком Тося касалась его шрама на левой щеке. Шрам походил на фасолевый стручок.

Я прошел совсем-совсем близко от них, но они даже не заметили меня.

Дом ее тетки был рядом с домом моей двоюродной сестры Нюры. Когда я ночевал у сестры, я почти каждый раз по утрам встречал Тосю. При встрече она кивала мне и гордо пронесила мимо свою высокую прическу, которая делала ее, низенькую, немного выше.

В памятный день Нюра попросила меня спеть под гитару для ее гостей. Я было отказался. Но, увидев, что пришла и Тося, решил петь. Нюрины приятели расселись на крыльце, на траве посредине двора. Тося присела на бревне у забора, облокотилась на колени, уткнулась в свои кулачки подбородком и сидела маленькая, несмотря на взрослую прическу.

Настроив гитару, я отважился на смелый поступок. Я стал петь романсы, которые, на мой взгляд, должны были сказать ей при всех все — и то, что она нравится мне, и то, что я хочу видеть ее, что ревную ее и слезу за каждым ее шагом.

Я одинок, и ты проходишь мимо,
Не мне даришь лобзанья, нежный смех.
О, знала б ты, что мною так любима
И без тебя мне в жизни нет утех...

Я пел и смотрел на нее. Она сидела, опустив глаза.

Неожиданно в воротах показался Николай. Прихрамывая, он прошел во двор, не заметив ее. Тося тут же окликнула его, поднялась, оправила юбку и чуть не подбежала к нему, обнажая в улыбке частые мелкие зубы.

Николай остановился. Тося взяла его под руку и, боком подавшись вперед, заглядывая ему в лицо, повела Николая к теткинскому дому.

У меня упало сердце. Значит, они условились встретиться здесь. А я-то думал, она приходила послушать меня. Да она и не слушала вовсе. Она думала о нем, ожидала его. Недаром она так бросилась к нему.

Обидно стало до слез. Я не мог больше петь. Расстроено звучала гитара. Я хотел ее настроить и порвал струну. Нюрины приятели разошлись. Нюра хитренько усмехалась.

— Шо-то ты, братик, невеселый какой-то сегодня...

А потом серьезно сказала:

— Хромой черт приперся. Опять смотается, а она будет мучиться. Сестра еще что-то говорила, но я не слышал ее.

Вечером я играл танцы в клубе. Под клуб был оборудован сарай на бывшей усадьбе помещика Филиппова. Раздобыли керосина для двух десятилинейных ламп. Земляной пол побрызгали водой, чтобы не поднималась пыль. Нюра у кого-то выпросила трофейный немецкий аккордеон.

В полутьме было довольно уютно. Я стоял в углу, вблизи одной из ламп, и играл. Танцевали одни девчата, парней было человек пять-

шесть, из тех, кто выглядел повзрослее. Наперебой заказывали танго, вальсы, польки.

Я искал глазами Тосю и Николая, но они не появлялись.

Но вот взглянул на дверь и увидел Тосю. Она прислонилась к дверному косяку, скрестила на груди руки и стояла так, как будто была одна, как будто в клубе — ни танцев, ни смеха, ни музыки. Девчата приглашали ее в круг, но она отрицательно качала головой.

В паузе между танцами ко мне подошла Нюра и шепнула:

— Видишь, я ж говорила. Тоже мне женишок!.. Прикатил и укатил. А она, дура, сохнет. Замуж за него хочет!..

У меня шевельнулось чувство злорадства: «Вот он, твой Скрынник!..»

Я заиграл танго «Мне бесконечно жаль...». Нюра направилась к Тосе пригласить ее на танец, но Тося отказалась, и они обе вышли из клуба.

Минут через пять вернулась одна Нюра и сказала мне:

— Проводи после танцев Тосю. Ладно? Она будет ждать тебя у клуба.

— Ладно,— с готовностью ответил я; недоброе мое чувство вмиг исчезло.— Как раз хочу идти ночевать к вам.

Сославшись на усталость, я вскоре сыграл прощальный вальс. Молодежь потянулась к выходу. Нюра забрала у меня аккордеон и ушла с каким-то парнем.

Я вышел из клуба. Высоко светила полная луна. Где-то пели девчата. Эхо раскатывалось по яру, залитому мгlistым лунным светом.

Тося ждала меня у акации возле полисадника. Я подошел к ней. Она взяла меня под руку.

— Какой ты высокий! — сказала она и головой припала к плечу.— И хорошо, что высокий. Не люблю маленьких мужчин.

Мы шли через площадь к Садовой улице. Я молчал. Я был как во сне. Не верилось, что вот так могу идти с ней и чувствовать ее рядом.

— Скажи...— Тося замедлила шаг.— Скажи, днем ты для меня пел? Правда же?

Значит, она все поняла! Все-все!

— Да,— сказал я. У меня загорелись щеки.

Тося крепко сжала мой локоть.

Мы поравнялись с домом ее тетки. Я остановился, думая, что Тося сразу пойдет домой. Она потянула меня дальше, ко двору сестры. Мы вошли во двор и сели на крыльце.

Луна светила нам в лица. Тося натянула на колени платье, обхватила их руками и прижалась ко мне плечом. Я боялся пошевелиться. Казалось, стоит мне сделать одно лишь движение, и она мгновенно исчезнет.

«Где же твой Николай?» — хотелось спросить у нее.

Она шепотом сказала:

— Пойдем в сад...

Я молчал. Тося поспешила добавить:

— Пойдем...

И еще через паузу:

— ...Нарвем яблок...

— А я их не люблю,— ответил я тотчас.— Меня тошнит от них почему-то.

— Да? — прошептала она, отклоняясь от меня, и в шепоте ее я уловил что-то непонятное — не то недоумение, не то усмешку.— А может, пойдем?..

— Нет, правда,— сказал я по-дурацки простодушно,— я не ем яблок.

— Жаль,— громко сказала Тося, резко поднялась и, не оглядываясь, пошла к теткинскому дому.

На другой день мне стыдно было увидеться с Тосей. Я чувствовал себя перед ней наивно-глупым мальчишкой.

За обедом Нюра удрученно сказала:

— Знаешь, Тоська уехала. Ни с того ни с сего чуть свет собралась и укатила.

Мне вдруг щемяще ясно стало, в каком она была состоянии.

Прошло много лет. Я узнал, что Скрынник на Тосе так и не женился. Теперь я еще острее, до боли представил, что творилось в ее душе в тот вечер.

Ах, почему я не любил яблок!..

ЧЕРЕЗ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ

Та памятная командировка в Воронеж сложилась на редкость хорошо. К обеду первого же дня я справился с делами. Оставалось еще свободных двое суток, и я решил проведать родителей,— они жили тогда в Россоси, это километров двести семьдесят южнее Воронежа. Руководство издательства, в котором я работал, согласилось на мою поездку, и я тут же отправился на вокзал, чтобы уехать с первым попутным поездом; по дороге на вокзал накопил гостинцев.

Был жаркий июльский день. На вокзале, как всегда, стояла толкотня. Билетов на проходящий поезд еще не давали. Я облюбовал у билетных касс очередь поменьше и стал в нее. Стоять в душном зале было трудно, и время от времени я выходил на перрон глотнуть свежего воздуха. Постепенно мысли освобождались от издательских дел, и я начал думать о встрече со стариками.

Когда-то, в студенческую пору, я приезжал домой дважды в год, летом — на целых два месяца; потом, уже работая, стал бывать раз в году — по месяцу; теперь забегаю на два-три дня, в лучшем случае — на неделю: отпуск норовишь провести в санатории, где-нибудь на юге,— появилась необходимость что-то подлечивать.

Вспоминая последние приезды, я обнаружил, что чаще всего приезжал домой ночью. В темноте нетерпеливо шел с вокзала, почти бежал по родной Кооперативной улице. Издалека различал среди акаций очертания самой низкой в уличном ряду нашей хаты, стекла оконца, поблескивающие в свете железнодорожных прожекторов. Когда я еще жил дома, оконце у крыльца под камышовой стрехой всегда по ночам горело, как бы поздно ни возвращался я со школьных собраний, с танцев в городском парке, с гулянок. Бывало, никогда не ляжет мама спать до моего прихода.

В дни неожиданных приездов оконце лишь поблескивало стеклами. Я тихонько стучал в него. Рудик, от стука проснувшись в будке под абрикосом, начинал лаять. В оконце на секунду отодвигалась занавеска, мелькало бледное спросонья лицо мамы и тут же слышалось: «Ой, сынок прыхивав!..»

Еще через минуту она, такая маленькая, ссутулившаяся, простоволодая, прижималась в сенцах ко мне. Я чувствовал ее тепло и запах,

который отличу на всей земле. Мы входили в хату. Мама немедленно будила отца. И — боже мой! — как мне было хорошо!..

Глухая полночь, а на столе появлялись и поджаренная, залитая яичками картошка, по которой я так соскучился в казенных столовых, и соленые хрустящие огурчики, и откуда-то из-за шкафа отец, быстро одевшийся, доставал припрятанную на такой случай бутылку.

Мама — как челнок между печкой и столом. И говорит, говорит. Конечно, раз давно не присылал писем, она предполагала, что скоро заявлюсь. И сон ей вчера приснился: кто-то бил ее — верная примета, что кто-то прибьется в дом, — кто ж, как не сын? И сегодня с самого утра она сгадывала меня..

И вот мы сидим, пиршествуем. Мать и отец влюбленно рассматривают меня, и я всем сердцем чувствую их любовь, и сам люблю их больше, чем когда бы то ни было... Даже мама пригубит шампанского (я захватил из Воронежа), и начинается разговор о всяческих новостях: кто приехал или приезжал, кто заходил к нам или не зашел, кто из ребят еще здесь, кто умер, кого судили за хулиганство. И непременно она скажет, что такой-то из моих товарищей женился, у такого-то родилась дочка, а такой-то приехал к отцу с двумя сынами. Это звучит мне укором за мою изрядно затянувшуюся холостяцкую жизнь. Пытаюсь отшучиваться. Целую маму в ее влажные глаза.

— Да хоть бы ж дожить до внучат, — почти с мольбой говорит она. Стоя у кассы, я уже не видел очереди, не слышал вокзального гула. Перед глазами встали старики, в ушах звучали их голоса...

Попутного поезда все не было. Солнце начало заметно снижаться. По-видимому, и на этот раз приеду поздно, подумал я.

Наконец начали давать билеты. Очередь сбилась. Люди сгрудились у кассового окна. Однако покупка билетов шла более-менее спокойно. Я был уже близок к кассе, когда меня сбоку кто-то больно толкнул и резко отодвинул назад. Я повернулся и за плечом увидел молодую женщину. Она всю работала локтями, пробиваясь к кассе. Очередь опешила, смутилась. А она вмиг протиснулась вперед, протянула полную, в редких веснушках руку в окно и сипло выдохнула:

— Один до Колодезной!

Потом эта рука с билетом проплыла над нашими головами. Женщина раздвинула сомкнувшихся было вокруг нее людей и вынесла себя из толпы. Под нажимом сади я очутился на ее месте, у самой кассы. Очередь галдела вслед женщине. Уже выбравшись из очереди, я слышал, как ее запоздало ругали:

— Во дизель!

— Молоде-ожь пошла! Такая из горла вырвет!..

— Уже вырвала. Вишь, разъелась!..

Женщина как ни в чем не бывало пересекла кассовый зал, остановилась у выхода на перрон и, поднося билет близко к глазам

и закинув голову, рассматривала на свет компостер. Близорукая, отметил я машинально и подумал: где-то я видел ее.

Я тоже взглянул на билет — в какой садиться вагон. Поднял глаза. Женщины на перроне не было. Она затерялась в вокзальной суете. Я спустился в тоннель и вышел на третью платформу.

Вскоре подкатил поезд. Одиннадцатый вагон, в который я должен был садиться, оказался недалеко от меня. Когда я подошел к вагону, вдоль него уже выстроилась цепочка отъезжающих. Они ожидали, пока выйдут пассажиры, приехавшие в Воронеж. Каково было мое удивление, когда я в стороне снова увидел ту женщину. Она стояла в тени у вагона, обмахивала себя помятым носовым платком и одергивала прилипающее к влажному телу платье с непонятными цветами по подолу. У ног ее, полных и высоко обнаженных, были авоськи, набитые всевозможными свертками. Короткая стрижка делала ее голову маленькой в сравнении с крупной фигурой.

В женщине еще видна была недавняя девичья красота, но она уже уступала ранней полноте и какому-то, как мне показалось, безразличию к себе.

Я подошел ближе. Она беспокойно повернулась ко мне и, прищурившись, остановила свой взгляд.

И я вспомнил!.. Вспомнил зиму пятидесятого года, студенческие каникулы. Сколько же прошло с тех пор? Сейчас шестьдесят пятый... Боже, пятнадцать лет!

Будучи студентом Литературного института, ехал я домой на первые зимние каникулы. В вагоне, через купе от меня, ехала красивая девушка. Также студентка — из пушно-мехового. Высокая. Тонкая. С длинной косой. С мохнатыми близорукими глазами. Конечно же, всю дорогу я был возле нее. Мы не спали всю ночь. Без умолку говорили. Я рассказывал ей об институте, читал бездну стихов, пел песни. Она все слушала меня, просила рассказывать еще и еще. Я ловил каждое ее движение. Я был в восторге от нее. Я ошалел от темных ее, мохнатых глаз, от ее пушистой длинной косы. Звали студентку Алисой.

Она ехала в Острогжск, там жили отец ее и мать. В Лисках — теперь эта станция называется Георгиу-Деж — ей предстояла пересадка. Наш поезд стоял долго, с полчаса. Я помог ей донести чемодан до рабочего поезда на Острогжск — он стоял за вокзалом. Посадил в вагон. Алиса дала мне свой домашний адрес, и мы простились.

Возвращаясь с каникул, я неожиданно для самого себя в поезде написал стихотворение. Вспомнилось, как мы ехали вместе из Москвы; лишь намеком говорил о своих чувствах.

Сегодня вновь проехал Лиски
В пути обратном, до Москвы.
Со мною — никого из близких,
И, может, потому, что вы —
Далеко также, — неизвестно,

Но на меня напала грусть,
И я один в вагоне тесном
Пою студенческие песни,
Стихи читаю наизусть...

Помнит ли она меня? Узнала ли?

Я подождал, пока Алиса поднялась в вагон, и вошел за ней. Алиса присела на первое же свободное место, поближе к выходу, авоськи пристроила за спиной и все обмахивала себя платком.

Я сел напротив. Поставил портфель на колени и в упор посмотрел на нее. Да, она очень изменилась. Кажется, только глаза оставались прежними. Но в них было то, чего не было в ту далекую встречу, что трудно было определить и теперь.

— Простите, — сказал я. — Вы меня не узнаете?

Алиса прижмурилась, как бы закрываясь.

— Еще... в вокзале узнала, — ответила она, споткнувшись на слове «вокзале», и покраснела. — Но я так спешила... Думала, стоит уж поезд...

— А я узнал вас у вагона. Далеко едете?

— До Колодезной. К матери. Я в отпуске.

— А ведь родители жили в Острогжске.

— Давно переехали, — устало сказала она. — Отца перевели работать туда. А где вы? Чем занимаетесь?

Я бегло поведал о работе в газете после института, в издательстве. Сказал, что часто вспоминал нашу встречу, что мне хотелось увидеться и после каникул, в Москве. Это было нетрудно сделать — стоило только пойти в ее институт. Но меня что-то останавливало. Я так и не собрался. А на улицах, в магазинах, в театрах — во многих девушках чудилась она, — то лицом они походили на нее, то походкой, то чья-то коса напоминала ее косу.

— После каникул я посылал вам стихи. На домашний адрес.

— Да, спасибо. Мама мне переслала.

— Я могу подарить вам книжку. Недавно вышла. Там они...

Я раскрыл портфель, достал сборник, авторучку, чтобы сделать надпись.

— Не надо ничего писать, — торопливо сказала она. — У меня... такой муж... И свекруха завидит...

Я отдал сборник. Она полистала его, нашла те стихи. Прочитала, шевеля губами. Потом долго смотрела в окно.

О чем она думала? О той далекой прекрасной ночи в пути? Или о том, что надо бы встретиться тогда еще? И — кто знает? — может быть, у нее по-другому сложилась бы жизнь? И у меня тоже?

Во мне шевельнулось чувство вины перед Алисой, и перед собой, и перед неведомым для меня ее мужем, который, наверное, тоже несчастлив, и перед незнакомыми мне их родителями, которые

переживают неудачу своих детей... Может быть, и правда, у всех нас могло все сложиться по-иному, и все зависело от нашей встречи в Москве...

Я попросил Алису рассказать о себе.

— Нечего говорить, — ответила она, вздыхая. — Живу с одним... — Она так и не сказала, с кем или с каким. — Прижили мальчишку, во второй класс ходит. Работаю секретарь-машинисткой у одного исполкомовского начальника отдела. В Краснодаре. Вот и все.

— Значит, у вас что-то не задалось в жизни? — спросил я.

— Да, живу, как в сказке. Знаете, есть такой анекдот? Муж — Иван-дурак, свекровь — баба-яга, свекор — Кашей Бессмертный... — Понятно, — прервал я ее. — Там есть еще Елена Прекрасная и Иван-царевич.

Алиса помолчала, листая книжку.

— В Краснодар не ездите? — спросила она. — Увиделись бы. Я скажу, как меня найти.

Алиса продиктовала адрес и какую-то странную фамилию.

— Это фамилия подруги, — тут же пояснила она. — Сразу же звякнет...

— А почему вы работаете не по своей специальности?

— А что она дает? — ответила Алиса вопросом.

Мы снова помолчали.

— Какая у вас семья? — спросила она.

— Я пока один.

— Оди-ин? — удивилась Алиса. — Что так?

— Да вот так... Один. Еду навестить стариков.

— Вот и я к своим. Кой-чего везу из Воронежа. — Она оживилась, будто обрадовалась, что разговор перешел на иной путь. — Расскажу маме о нашей встрече. Опять в поезде...

В Колодезной я помог ей выйти.

— Слишком быстро доехала... — с грустью сказала Алиса.

Поезд трогался, едва остановившись. Я шагнул к Алисе, поцеловал ее в глаза и ощутил соль на губах.

Вскочив на ступеньки, оглянулся. Она стояла недвижно, опустив руки с авоськами.

— Загорюнилась девка-то, — сказала проводница, закрывая дверь тамбура. — Точно потеряла что-то.

Я не ответил. Не хотелось говорить.

Не рассказал я о встрече и дома, хотя мама, как всегда, не удержалась от разговора о женитьбе. Я подумал, как дорожный анекдот о сказочной жизни мог коснуться и меня и моих стариков, какими бы стали эти мои редкие неожиданные приезды к ним, и промолчал.

А спустя несколько лет, уже работая в Москве, попал я в Краснодар. И не знаю, как получилось, то ли командировочные дела

закружили, то ли еще что, но я вспомнил об Алисе, об адресе, который она мне давала, только по возвращении домой. И, вспомнив, увидел ее — ту, далекую, еще ничего не потерявшую от молодости.

Что с нами делают годы!..

ЧИСТОЕ

Смотрю на часы — они, кажется, стоят. Поднимаю руку с ними к уху — тикают. Снова всматриваюсь в секундную стрелку. Она нервно бежит по циферблату. Это бежит время. Бежит моя жизнь. Бежит, ни на мгновение не останавливаясь.

Мысль об этом меня обжигает.

Сажусь за стол, успокаиваюсь и начинаю припоминать, все ли взял нужное в поездку. Вроде бы все. Продукты, водка, хлеб для Шуры... Да, чуть не забыл духи. Тоже для Шуры, флакончик «Красной Москвы». Нахожу его в столе и кладу в нагрудный карман пиджака. Теперь все.

До звонка Петра Федотовича семь минут. Черт возьми, забыл позвонить Володе Пешкову, чтоб он заказал предисловие к брошюре по садоводству. Затянул он что-то с предисловием. И Сашка Бобков тоже не сдает рукопись о добыче живицы. И сам я, шут меня не знает, никак не сяду за статью, уже напоминал редактор.

Звонок в коридоре. Вот он, Петр Федотович! Бегу, открываю дверь. На пороге Вера Васильевна, соседка по квартире. Рыжий гномик с полной сумкой. Что это она вдруг звонит? Каждый из наших жильцов открывает сам.

— Простите, Михаил Петрович, но у меня ключ на дне сумки. Заложил свертками. А вы еще дома?

— А вы не дождетесь, когда я исчезну?

— Что вы? Просто... карасей захотелось.

Она выжимает из себя подобие смеха.

Только возвращаюсь к себе в комнату — снова звонок. На часах ровно четыре. Это уж точно Петр Федотович. Он, как всегда, приходит минута в минуту.

В двери Петр Федотович снимает фуражку, поправляет пятерней лохматые седые волосы. Через плечо — фотоаппарат. Тоже как всегда.

— Вы готовы, Михаил Петрович?

— Да, выхожу!

Из кухни выглядывает рыжий гномик. Ему непременно надо знать, кто пришел.

За рулем «Москвича» Глеб, сын Петра Федотовича. У него «Москвич» еще первого выпуска. Заваленный сумками, свертками, удочками, он уютен, как шкатулка.

Петр Федотович усаживается впереди, рядом с Глебом, я — на заднем сиденье, среди поклажи, и мы трогаемся.

Излюбленное место, куда чаще всего ездят отец и сын, — это озеро Чистое. С улицы Советской мы сразу же сворачиваем на Рассказовское шоссе, переезжаем мост через Цну и мчимся по асфальту. Едем молча, думая каждый о своем. Я все еще припоминаю день с его заботами. Как бы желая поскорее отвлечь меня от раздумий, к дороге поближе подступает лес. Прямо к шоссе выбегают березки, машут ветвями; сосны — высокие и прямые — заставляют поднимать глаза к небу. А небо чистое, предвещает хорошую погоду.

Глеб ездит спокойно. Такую езду любит Петр Федотович. Сам он все делает обстоятельно и не торопясь.

Справа меж стволов деревьев мелькают голубые постройки пионерского лагеря.

— А я ведь помню, — говорит Петр Федотович, — когда мы здесь охотились на глухарей. Дивные, знаете ли, были охоты!

Он на секунду умолкает и уже совершенно другим голосом — в нем и сожаление, и вздох облегчения:

— Тогда я еще стрелял дичь... Да...

И снова надолго умолкает.

Чем дальше уезжаем мы от города, тем ощутимее свежесть воздуха.

Проехав километров пятнадцать, резко сворачиваем влево. Въезжаем в лес.

— Ты не ошибся в повороте? — спрашивает у Глеба отец. — Башню мы не миновали?

— Нет, папа. Все правильно.

Значит, Петр Федотович не следил за дорогой. Он думал о чем-то своем. Может быть, припоминал молодость? Было время, эти места он исходил пешком, с ружьем за плечами. Охотиться перестал после войны. Не мог...

Проезжая здесь, Петр Федотович невольно припоминает особенности каждого оврага, каждой поляны, березника, ельника.

— Давай, Глеб, остановимся. Вблизи дороги тут было множество белого гриба.

Выходим из машины. Петр Федотович глубоко-глубоко вздыхает и смотрит на меня: каков, мол, воздух, а?!

И правда, дышится легко и свободно.

Глеб открывает капот, охлаждает мотор. По песку все же ехать трудновато. Закипает вода в радиаторе.

Мы с Петром Федотовичем удаляемся в лес и расходимся.

— Только, пожалуйста, далеко не уходите, — советует он покровительственным тоном. Ему нравится так говорить со мной, хотя он всячески старается, чтобы этот тон его был незаметен, и я делаю вид,

что не замечаю его. Я знаю доброе отношение ко мне Петра Федотовича, и тон его принимаю как заботу.

Мы гуляем с полчаса. Это так хорошо. Между сосен воздух суховат, улавливается настой хвои. А чуть к березам — пахнет грибами.

Распахиваю ворот рубашки, дышу всей грудью.

Возвращаюсь к машине. Глеб сидит на обочине и курит.

— Ты тут бы хоть не курил, — говорю ему.

— Вот тут-то и покурить! — улыбается Глеб. — Где же еще можно т а к?

Слышится потрескивание сучьев в глубине леса. Вскоре появляется Петр Федотович.

— Ну, грибов не нашли? — спрашивает он и по-детски нетерпеливо ждет — ждет отрицательного ответа.

— Нет, не нашел, — говорю я и тотчас улавливаю на лице Петра Федотовича удовольствие.

— А я нашел! — Он вынимает руки из-за спины и протягивает мне огромный белый гриб. Глаза его горят мальчишеским озорством. «Эх вы, молодые! Старик вам еще не то выдаст!..» — Нашел на прошлогоднем месте. Помнишь, Глеб, недалеко от того муравейника, под сосной? Помнишь?.. А сосна погибает, уже почернела...

Держу гриб. Нюхаю.

— Грибом и пахнет, — говорю, смеясь.

— Пахнет роскошно! — восклицает довольный Петр Федотович. — Знаете, кажется, мне удалось хорошо сфотографировать муравейник. Освещение было хорошее.

Дальше спускаемся к забытому кордону. Дорога песчаная. «Москвич» буксует. Раза три выходим из кабины и подталкиваем его. Глеб иногда съезжает с дороги и едет между деревьев.

На старом кордоне пустынно. Сиротливо стоят одичалые, посеившие от старости бревенчатые избы.

— Тут восточней немного, — вспоминает Петр Федотович, — совершенно великолепный родник. И видно, как он бьет. Как пульс.

За кордоном начинается осинник. Становится сразу мрачнее — исчезает свет белокорых берез.

— Приостанови на последнем повороте. Покажем чудо природы, — говорит Петр Федотович.

— А-а, — что-то припоминает Глеб, — это надо!

Я привык к сюрпризам Петра Федотовича. Он так знает лес, как, может быть, только одна Шура. Но к знанию должен быть еще и глаз. Надо уметь видеть.

Мы выходим у поворота к ельнику. Шагах в двадцати от дороги я сразу замечаю присевшего зайца — серый прижух и сидит. Замедляю шаг, поворачиваюсь к Петру Федотовичу, а он восхищенно глядит на меня.

— Увидели? Молодцом!

Мне лестна его похвала. И самому хорошо оттого, что увидел причуду природы. Заяц этот — старый осиновый пенёк. Природа так обработала его, что получился житель здешних лесов.

Петр Федотович щелкает фотоаппаратом.

— Скоро разрушится. Или какой-нибудь шалопаи развалит. А у меня он останется.

— Можно сделать фотозетюд для газеты, — говорю я. — И подпись к нему. Для воскресного номера. А одну фотографию мне на память.

— Пожалуй, это можно, — соглашается Петр Федотович.

Свернув влево, подъезжаем к большому бревенчатому дому. По правую сторону распахнулось озеро. К нему подступают деревья. Некоторые вошли в воду. По озеру островки, рядом чернеют пни, наискось отражаясь в воде. Над озером мечутся крачки. Их крик мне сейчас не кажется тоскливым. От озера идет благодатная прохлада. Ветерок, уже на затишке, шевелит вершины могучих сосен. Они отвечают ему легким приветливым шумом.

Мельком оглядываю двор. Возле дома стоит обшарпанная печка, — у нас такую называют горнушкой. Под рябиной сложены сляги. Рядом стог сена. А слева от тропы к озеру вкопаны большой темный стол и лавки возле него.

Из сарайчика за крыльцом выходит Шура — невысокая женщина лет тридцати пяти. В темной кофточке, в темной широкой юбке с фартуком поверху, босая.

— А-а, Петр Федо-о-тович! — обрадованно тянет она. — Давне-е-енко не бывали...

Она вытирает руку о фартук и протягивает старому знакомцу. Я тоже пожимаю ее руку, чувствуя мозоли ее.

Гостинцы Шуре преподносит Глеб. Она сдержанно и смущенно принимает их. Но видно, что рада. От кордона до сельского магазина не близко, — так что за продуктами не наездишься. Да и выбор там — не разгуляешься.

Она относит все в дом. Тут же возвращается, уже в светлом платочке, в тапочках.

— А я как знала о приезде вашем. И лодку вашу никому не отдавала. Вы же сразу на озеро? — обращается она к Глебу.

— Да, Шура. С твоего разрешения.

— Тут на днях прикатили одни — давай им то, давай се. Я к ним, а у них нет охотничьих билетов. Один тычет мне какие-то начальственные корочки, я ему — это, говорю, для меня ноль без палочки. Ты мне охотничий подавай... Ну, убрались подобра-поздорову.

Шура ревниво исполняет свои обязанности, и ее кордон на хорошем счету в охотничьем хозяйстве.

Глебова лодка полна дождевой воды. Я — пока Глеб отчаливает от пристани — вычерпываю воду консервной банкой, припасенной для

этого под лавочкой. Сажусь на корму. Глеб одним веслом выводит лодку на середину озера. Меня охватывает волнение. Над озером утихомиривается ветерок, чуть рябит воду. Лес у воды — как будто пришел полюбоваться ею и не в силах отступить от нее. Кажется, и небо поднялось, чтоб не застить всю красоту озера. Солнце уже начало свой спуск с высоты, но еще стоит довольно высоко, ослепительно сверкая и рассыпаясь по ряби волн.

Глеб подгребает к островку, втыкает весло в дно, причаливает к нему лодку и усаживается на носу.

Через минуту-две на наших крючках нанизан хлеб, сдобренный анисовыми каплями. Еще через минуту в воде стоят красненькие поплавки.

Начинается молчаливое соревнование между нами. Глеб считает себя опытным рыбаком. Он сто раз ловил тут. Знает хорошо повадки карасей. Я дилетант в рыбной ловле. На озере ловлю впервые. Но, правду говорят, новичкам везет. Едва закидываю удочку, у меня начинается клевать. И тут же вытаскиваю первого карася. Он — в полладони, изгибается у меня в руке, сверкая чешуей.

Глеб старается не смотреть на мою удачу. А я опять вытаскиваю — второго, третьего. Опускаю их в воду, оставленную в лодке.

— Фартит пижонам, — не удерживается Глеб, но говорит беззлобно.

Начинает ерзать и его поплавок. И он вынимает серебряного карася величиной в полную ладонь.

— Мы с мелочью не возимся. — Глеб небрежно выпускает карася в лодку.

Ловим каждый на одну удочку. На две ловить было бы невозможно. Клеует без перерыва. Одна поклевка за другой. Хорошо, что хоть не каждого клюющего карася удается поймать. Все-таки удовольствия больше, когда ты борешься с рыбой.

Вскоре в лодке стоит плеск.

Начинает болеть спина. Сидеть тоже трудно. Тихо поднимаешься и ловишь какое-то время стоя. Но стоя ловить неудобно. То и дело нагибаться за наживкой. Лодка качается.

— Да, иметь бы кое-какие запчасти для самого себя, — говорит Глеб, и мы хохочем над этой немудрящей остротой.

Солнце, заметно снижаясь, уже касается верхушек сосен. Озеро начинает менять свои краски. Оно темнеет у западных берегов, а восточные будто вспыхивают в лучах заходящего солнца. Затем быстро гаснут краски снизу. Темнота теснит их от земли. Лучи все выше и выше поднимаются по деревьям, а озеро темнеет, стирая свет зари. Вскоре зари совсем не видно на воде.

Надвигается тишина. Клев утихает. Мы, как по команде, сматываем удочки, встаем и разминаемся.

На берегу считаем карасей — их сто двадцать семь штук.

— Двойная уха обеспечена, — довольно потирает руки Глеб.

У печки появилась куча сушняка. Это Петр Федотович, пока мы рыбачили, бродил по лесу и собирал топливо.

Я беру нож и чищу карасей. Петр Федотович уходит от печки. Он не может видеть, как под ножом взвизгивает рыбешка. Глеб растапливает печку. Почистив карасей, ужожу к столу и ложусь на лавке. Глеб священнодействует над ухой.

Лежу на лавке и смотрю в небо. Оно еще хранит самый последний отблеск зари. Оно опускается все ниже. Ниже к земле склоняются сосны. Они как будто соединяют воедино великий шатер надо мной, укрывая от всего, что надоело в буднях, что оставил, приехав сюда.

Я не замечаю, сколько так лежу. Но, повернув голову к озеру, вижу вдруг огромный белый шар луны над самой кромкой дальнего леса. Когда она взошла? Когда она раскинула свой коврик по глади озера? Никто из нас не заметил.

Лежу, не шевелясь. Боюсь движением потревожить эту великую тишину. Сосны беззвучно покачивают вершинами надо мной, и мне кажется, я — на дне океана.

Почему я так редко бываю в лесу? Вспоминаю себя маленьким, когда мы с мамой ходили за дровами в Олейчик, — так называется самый ближний лес у нашей деревни. Мы набирали по вязанке сушняка, а потом драли лычки и перепоясывали ими вязанки. Мне всегда было жаль липу. Думалось, ей больно, когда сдирают с нее кору.

Слышу шарканье шагов.

— Вы не уснули? — говорит, подходя, Петр Федотович.

— Нет, — поднимаюсь на лавке.

Петр Федотович задумчиво смотрит на озеро.

— Знаете, Михаил Петрович, я иногда так завидую Шуре, — снова заговаривает он. — Живет она вдаль от нашей суеты. А мы... Понимаете ли, испорченные мы цивилизацией люди. Я вот завидую Шуре и тут же ловлю себя на мысли — ну, неделю-две, от силы три пожил бы я здесь. А потом не знал бы, куда деться, что делать от тоски. И опять пришлось бы возвращаться в город.

— К сожалению, вы правы, — соглашаюсь я с ним. — Шуре легче. Она всю жизнь тут... А впрочем, кто знает... И ей нелегко... Одной...

Петр Федотович молчит. К кордону подступает темнота. Все ярче видно пламя печки и его отсветы.

Шура приносит на стол деревянные миски и ложки, стаканы, большой деревянный половник. Все это снова напоминает мне детство в деревне.

С рюкзаком подходит Глеб. На столе появляются помидоры, лук, сало, бутылка водки. И иду за своим провиантом.

Стол освещает луна. При виде еды вдруг чувствуем, как мы голодны. Фыркая, моем руки под простецким рукомойником,

усаживаемся за стол. Уху Глеб оставляет на плите. Уха должна настояться.

Черт возьми, там, в городе, для меня обеды и ужины — тягостная обязанность. Идешь в кафе, выстаиваешь в очереди к гардеробу, потом сидишь с полчаса за пустым столом, пока к тебе подойдет официантка. Потом еще с полчаса ждешь, пока тебе что-то подадут; обязательно окажется, что чего-нибудь из заказанного нет и надо заказывать другое и снова ждать. И уже неохота есть.

А тут обыкновенные лук и помидоры кажутся редчайшими деликатесами. Черный хлеб вкусен, и после него нет изжоги. И не знаешь, от чего больше хмелеешь — от водки или от того, чем ты живешь в этот вечер.

Шура пьет и вытирает губы кончиком фартука, напоминая мне маму. Мы все становимся разговорчивей. Петр Федотович, Глеб и Шура наперебой вспоминают ее отца — охотника, знатока леса и озер, доброго человека. Они вспоминают тяжелые военные и послевоенные времена, когда Шура и ее отец жили в землянке (она теперь служит ей погребом), но к ним все равно с великой радостью съезжались из Тамбова, из Рассказова, даже из Моршанска охотники, чтобы потом рассказывать друзьям об охоте с Константинычем, о хождении с ним по лесам и болотам. Мы пьем за светлую память о Константиныче. За людей, умеющих помнить доброе.

Глеб незаметно уходит от стола и приносит уху. Уха — венец нашего лесного застолья!

После ужина мы сидим и говорим о красоте земного мира, о том, как бы прекрасно могли жить в этом мире люди, если бы наконец у них хватило ума понять друг друга, понять, что и земля, и небо, и леса, и озера, и все-все на земле — это для всех живущих на ней. За всю историю земли люди не могут этого понять, и в то самое время, когда мы сейчас мучительно думаем об этом, в разных концах земли льется человеческая кровь, — высшие создания природы все еще не могут разделить между собой по-человечески и это небо, и землю, и леса, и озера...

Взволнованные, мы расходимся от стола. Я иду к пристани. Тихо шлепает вода по днищам и бокам лодок; где-то на той стороне озера свищет какая-то пичуга, и снова лунная тишина вокруг.

Наутро встаем в пять. Озеро все в тумане. Кажется, за соснами открывается море. Островами в нем проглядывают вершины дальних деревьев.

Плывем на вчерашнее место. Туман рассеивается часам к шести. Проступают берега, самые низкие кустарники, елочки. За ними появляются молодые сосенки, березы и осины, а вскоре и самые старые и высокие их собратья. Стена деревьев — как хор на сцене.

Уплывают на запад облака. Розовеет вода. Еще мгновение, и запевают самые ранние птицы. Пение их сливается с едва уловимым

шумом деревьев, и все это предстает одной многоголосой мелодией утра.

Ловим часов до восьми. У пристани перекладываем карасей травой, чтоб не протухли. Позавтракав, выносим раскладушки из дома, устанавливаем их под соснами и ложимся спать. Засыпаю мгновенно и сплю без сновидений.

Проснувшись, идем за земляникой. Собираем ее до вечера. Приходим на кордон, еле волоча ноги. Но странно: пока Глеб восстанавливает в машине сиденья, пока укладывает свои вещи в багажник, пока осматривает мотор, что-то там проверяя в дорогу, я уже чувствую себя отдохнувшим.

Дома меня поджидают соседки. Раздаю им карасей. Себе оставляю на две-три сковородки и жарю их в сметане, чтобы угостить друга. Он вот-вот придет.

И я буду угощать его карасями в сметане, рассказывать о кордоне, о нашей рыбалке. И еще долго буду вспоминать и видеть во сне и кордон, и озеро, и лесной хор над ним. И буду жить ожиданием новой поездки туда.

ПОБРАТИМЫ

В Центральном Доме литераторов был вечер одного стихотворения. Тогда, в самом начале 50-х, такие вечера устраивались часто, и нам, студентам Литературного института, давали на них пригласительные билеты.

Дубовый зал был, как говорится, набит до отказа. За маленьким столом перед публикой сидел председательствующий. Выступавшие, когда он их называл, выходили из публики, из передних рядов.

Я стоял в глубине зала, под лестницей на второй этаж. Впереди меня молодые ребята сидели на стульях и загораживали выступавших, а мне, естественно, тоже хотелось не только слышать, но и видеть поэтов.

Где-то в середине вечера, когда публика уже вошла в роль чуткого и отзывчивого слушателя, председательствующий объявил:

— Выступает Ольга Берггольц!

В зале захлопали.

К столу вышла Ольга Федоровна, невысокого роста, с короткими золотистыми волосами. Золотистость тогда еще забивала едва начавшую проступать блокадную седину.

— Я прочитаю стихотворение «Побратимы»,— глухо сказала она.— Посвящается Михаилу Светлову.

Зал задвигался, загудел. Меня потеснили, двинули в сторону и прижали к круглому столу под лестницей. Хватаясь за его край, я на миг увидел, что за столом, в кольце стоящих молодых людей, в их тени, как в колодце, сидел пожилой худой человек и курил папиросу.

Берггольц читала высоким голосом:

Мы шли Сталинградом, была тишина,
был вечер, был воздух морозный кристален.
Высоко крещенская стыла луна
над стрелами строек, над щебнем развалин.
Мы шли по каленой гвардейской земле,
по набережной, озаренной луною,

когда перед нами в серебряной мгле,
чернея, возник монумент Хользунова.
Так вот он, земляк сталинградцев, стоит,
участник воздушных боев за Мадрид...

Даже без посвящения было ясно, что стихотворение навеяно светловской музой. И казалось, не одна Ольга Федоровна, а ты вместе с нею написал дальше:

И вспомнилась песня как будто о нем,
о хлопце, солдате гражданской войны,
о хлопце, под белогвардейским огнем
мечтавшем о счастье далекой страны.
Он пел, озирая
родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!..»

Теснымъ беспокойными соседями, я продолжал стоять и держался рукой за стол. Потом вынужден был сесть. Сел. Снова взглянул на человека за столом и узнал Светлова. Широкий морщинистый лоб. Вспорхнувшие брови. Скульптурные, полуприкрытые веками снизу и сверху глаза... Светлов сидел неподвижно, облокотившись на стол и уткнув подбородок в сомкнутые ладони. Между указательным и средним пальцами правой руки была зажата папироса. Он жадно затягивался, в глубоких морщинах блестели слезы...

А в зале звучали стихи:

Но только, наверно, ошибся поэт,
тот хлопец — он белыми не был убит.
Прошло девятнадцать немислимых лет —
он все-таки дрался за город Мадрид!
И вот он — стоит к Сталинграду лицом
И смотрит, бессмертный,
сквозь годы,
сквозь бури
туда, где на площади Павших Борцов
испанец лежит — лейтенант Ибаррури.
Пасионарии сын и солдат,
он в сорок втором защищал Сталинград.
Он пел, умирая
за эти края:
«Россия, Россия,
Россия моя...»

Известно ли было Ольге Берггольц, что Светлов здесь, в зале, не знаю. Скорее всего нет. Об этом, видимо, не подозревали и стоявшие рядом слушатели, хотя, аплодируя Ольге Федоровне, они, как мне казалось, аплодировали и ему.

Михаил Аркадьевич в тот вечер не выступал.

О чем он думал в те минуты? Может быть, об услышанных стихах побратима?... А может быть, о том, что он написал позже, в 1957 году? «Вот уже много лет ко мне приходит эхо «Гренады». Оно возвращается из Китая, из Франции, из Польши, из других стран. В этом, конечно, заключается большое счастье, но есть и ощущение горечи. Неужели я — автор только одного стихотворения? Хочется думать, что это не так...»

Поэт был прав. При имени его тогда, в начале 50-х, тотчас, кроме «Гренады», вспоминались и «Пирушка», и «Рабфакровка», и «Песня о Каховке», и, конечно же, великолепное стихотворение «Итальянец» — такое же значительное, как и «Гренада».

Это правда. Но правда и другое. Тогда многие считали, что Михаил Светлов пережил свою славу, что он исписался. Он действительно подолгу не публиковал своих новых стихотворений, и в Доме литераторов или в баре № 4 на Пушкинской площади, где мельком можно было видеть Михаила Аркадьевича, нередко слышались брошенные вслед, обидно переосмысленные его же строки: «...умер Светлов. Он был настоящий писатель...»

О, этот обычай поэтов — «в круг сойдясь, оплевывать друг друга!» Он чаще бытует среди молодежи, которой свойственна категоричность суждений. Ведь было же время, и Светлов написал: «Товарищи классики! Бросьте чудить! Что это вы в самом деле, героев своих порешили убить на рельсах, в петле, на дуэли?.. (Как будто это была прихоть классиков — убивать своих героев... — М. Ш.). Я сам собираюсь роман писать — большущий! И с первой страницы героев начну ремеслу обучать и сам потихоньку учиться. И если не в силах отбросить невроз, герой заскучает порою, — я сам лучше кинусь под паровоз, чем брошу на рельсы героя...»

Пройдут годы. Много повидавший и переживший Михаил Светлов напишет: «Сколько натерпелся я потерь, сколько намолчались мои губы!..» Родятся и строки: «Молодежь не поймет наших грустных усилий, постаревшие люди, быть может, поймут!..»

Поняли и молодые люди и пожилые. Помогло понять время. Помог и сам поэт — новым взлетом своего вдохновения с середины 50-х годов:

Старый мир! Берегись отважных
Нестареющих дьяволят!..

Неизменно мое решенье,
Громко времени повелю —
Не подвергнется разрушенью
Что любил и что люблю!

Не нарочно, не по ошибке,
Не в начале и не в конце
Не замерзнет ручей улыбки
На весеннем твоём лице!

Над этими строками стоит посвящение — Ольге Берггольц...

Пришли новые лавры. Пришли премии. Правда, после смерти.

«Ах, медлительные люди! Вы немножко опоздали...»

В памяти моей еще одна, последняя встреча со Светловым.

Я уже был на выпуске, когда Михаил Аркадьевич пришел в Литературный институт вести творческий семинар поэзии.

Я решил побывать на первом занятии его семинара.

Михаил Аркадьевич был в хорошем настроении, шурил в улыбке свои глаза.

— Что же, давайте знакомиться. Я думаю, для начала каждый из нас прочитает одно стихотворение.

В аудитории было человек пятнадцать. Михаил Аркадьевич дымил папиросой, говорил о каждом то шутливо, то серьезно, то прямо, то притчей.

Я прочитал только что законченное стихотворение: «Мне двадцать пять. У Мавзолея, на Красной площади стою. Отсюда поглядишь смелее на прожитую жизнь свою. Здесь думаешь о человеке, чьим светом полон шар земной. Что сделал я за четверть века, чтоб Родина гордилась мной? Порою бывает много спеси, кичливости... А между тем не создано народных песен, не создано больших поэм... Я должен — долг моя свобода! — разбив сомнения и лень, во славу своего народа бессмертным сделать каждый день...»

— Слушайте, это совершенно нормальные мысли выпускника! — улыбулся Михаил Аркадьевич. — Дорогой мой мальчик, наш с вами тезка Лермонтов к двадцати пяти годам был гений. Мне и в пятьдесят это не удалось. Вы счастливее меня — у вас в запасе четверть века! И программа у вас гениальная. Попробуйте!..

Так мог сказать только Светлов — человек, даже фамилия которого удивительно созвучна с его существом.

ВОРОНЕЖСКИЙ ВЕЧЕР

Осенью 1963 года в Воронеже проходило выездное заседание секретариата правления Российского союза писателей. Секретариат обсуждал творчество литераторов Центрального черноземья.

В Воронеж съехалось много писателей. Заседания, доклады, выступления... Это событие вызвало в сравнительно спокойном областном городе беспокойство, суету и шум.

Жили все в гостинице «Россия», красивом современном здании в центре города. Оживленность литературной встречи перенеслась и сюда, дискуссии продолжались в номерах гостиницы.

К концу второго дня участники заседания изрядно приустиали, особенно периферийные писатели, не привыкшие к заседательской насыщенности.

Вечером я решил пойти куда-нибудь из гостиницы часа на два-три. Хотелось побродить по городу.

Я вышел из гостиницы и в стороне от подъезда увидел Рыленкова. Николай Иванович стоял один и протирал платком очки.

И совершенно неожиданно для самого себя я подумал: не попросить ли его послушать мои стихи. Но тут же возразил себе. И без меня он наслушался стихов за эти два дня!.. Да, но представится ли еще такая возможность когда-нибудь? Я заволновался. Видимо, сказывались и моя застенчивость, и мой длительный уход из серьезной литературной среды — уже больше пяти лет после Литинститута работал я в тамбовской областной газете.

И все-таки я превозмог свою нерешительность.

Николай Иванович охотно согласился послушать меня.

— Только давайте уйдем отсюда, а то дадут, — сказал он. — Перейдем улицу и куда-нибудь неподалеку... Вы знаете Воронеж?

Я понял, что и он устал от заседаний и застолий. Он ведь, несмотря на пришедшую к нему популярность, оставался жить в своем родном Смоленске, городе, который тоже не приобрел еще столичной напряженности и головокружительного темпа жизни.

Пока мы пересекали улицу и выходили к площади перед драматическим театром, он расспрашивал — кто я, откуда, давно ли пишу. И как будто и вправду что-то открывая для себя, отрывисто бросил:

— Ага, значит, воронежской земли рожак? Что ж, земляца щедрая, учились в Литературном? Тоже неплохо.

А сам то и дело останавливался и снова протирал очки и, пробуя, насколько они чисты, поглядывал на меня.

Мы шли в Кольцовский сквер. Не сговариваясь, очутились на аллее вдоль ограды, где было поменьше гуляющих, и замедлили шаг. И я начал мысленно ругать себя за эту затею. Я перебирал свои стихотворения, и почти все они, даже самые любимые, казались мне плохими, и я медлил с чтением, хотя видел, что Николай Иванович уже ждет его.

И вдруг он как будто почувствовал, что творится в моей душе, и сказал:

— Знаете что? Давайте я вам почитаю!..

Он остановился, остановил меня и положил руку мне на плечо.

— И не свое... Что — свое! Вчера ночь просидел над одной штукой, а сегодня утром пришлось разорвать... Нет! Не свое!.. Я почитаю вам... вечное!.. Не знаю, почему захотелось вам почитать. Но уж коли стихи — так стихи! Мы же, как подчеркивают воронежцы, — на земле Кольцова и Никитина. Вот с них и начнем. А?

Расширенные стеклами очков глаза его посмотрели на меня как-то по-крестьянски хитро. И я подумал, что вообще у него удивительно русское, крестьянское лицо. Тут же я уловил в себе обиду: вишь, не захотел все же послушать меня. Но, думая об этом, вспомнил о его бессонной ночи (а сколько их в жизни поэта!), о разорванном стихотворении и с минуту не слышал Николая Ивановича.

А он уже читал никитинское хрестоматийное:

Душный воздух, дым лучины,
Под ногами сор...
Закоптелые полати,
Черствый хлеб, вода...

— Тысячный раз читаю и удивляюсь. Какая простота! А вот вам еще и сила. Лермонтовская сила.

Чужих страданий жалкий зритель,
Я жизнь растратил без плода,
И вот проснулся совесть-мститель
И жжет лицо огнем стыда.
Чужой бедой я волновался,
От слез чужих я не спал ночь,—
И все молчал, и все боялся
И никому не мог помочь...

Николай Иванович перевел дыхание.

— Это совестливый поэт! И этому надо учиться у него.

Людскую скорбь, вопросы века —
Я знаю все... Как друг и брат,
На скорбный голос человека
Всегда откликнуться я рад.
И только. Многое я вижу,
Но воля у меня слаба,
И всей душой я ненавижу
Себя, как подлого раба.

— Да, да. Очень совестливая поэзия...

Бронзовый Никитин, ссутулившись посреди сквера, слушал свои стихи и, казалось, вновь переживал их, и они новой тяжестью ложились на его плечи. К тяжести своих строк прибавлялась грусть кольцовских...

Что, дремучий лес,
Приздумался,
Грустью темною
Затуманился?..
Одичал, замолк...
Только в непогоду
Воешь жалобу
На безвременье...

Где-то в глубине души мелькнуло: а слышит ли Кольцов свои стихи, ведь он там, в самом конце сквера...

А Николай Иванович уже повел меня к Пушкину, Некрасову, Блоку, Есенину, Мандельштаму.

— А вот вам еще!

Двадцать четвертую драму Шекспира
Пишет время бесстрастной рукой.
Сами участники грозного пира,
Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира
Будем читать над свинцовой рекой;
Лучше сегодня голубку Джульетту
С пенем и факелом в гроб провожать,
Лучше заглядывать в окна к Макбету,
Вместе с наемным убийцей дрожать,—
Только не эту, не эту, не эту,
Эту уже мы не в силах читать!

— Вы знаете эти гениальные стихи? Как она могла написать их? Вы знаете, чьи это стихи?

Он секунду помолчал. Не дождавшись ответа, приостановился, поднял свою крупную руку, раскрыл ладонь, будто передавая что-то, и с каким-то благоговением, притихшим голосом сказал:

— Это же Анна Андреевна.

Сам смотрел на меня — какое это произвело впечатление. После паузы — в одно дыхание — продолжал:

— Ахматова. Как она могла! Как могла!.. А это ее помните?

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,

Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда...»
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

— Сколько раз, должно быть, вспоминала она это стихотворение за всю свою жизнь! Это же... Это же...

Он искал определения чему-то, что хорошо чувствовал. Не нашел. И сказал только:

— Господи, она же была женщина!

Потом звучали Байрон и Лермонтов, Шелли и вновь Пушкин, Есенин и Лонгфелло, Гейне и Беранже... Звучали восточная мудрость Тагора и щемящие думы украинского Кобзаря...

До этого вечера я встречал нескольких людей, хорошо знающих поэзию. Но чтобы столько помнить наизусть, так тонко чувствовать и понимать стихи и самим чтением передавать эти свои чувства и понимание, подчинять им слушателя, — нет, этого я не встречал ни у кого, кроме Николая Ивановича.

Подумалось о трудном пути его в поэзию, о том, что путь его потому и труден был, что Николай Иванович глубоко понимает истинное значение поэзии.

И по-новому зазвучали тогда для меня строки:

Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех...

Думал я и о мучительных ночах над рукописями и о еще более мучительных утрах, когда эти выстраданные рукописи надо собственноручно уничтожить. Уничтожить, так и не добившись того, чего хотел добиться. Не достигнув того, что, кажется, хорошо чувствовал и видел мысленным взглядом. Не достигнув того, вечного, как он сказал.

Мы вернулись в гостиницу за полночь. Швейцару пришлось открывать нам дверь. Прощаясь, Николай Иванович спросил:

— Скажите, о чем вы думаете сейчас?

Я смутился. Потом ответил:

— Удивляюсь тому, что вы столько помните. И еще знаете о чем? Вот мы были в сквере. Он называется Кольцовским. А в центре его — Никитин. Отвернулся от Кольцова, сидит спиной к нему. И я думаю: зачем людям понадобилось так сделать? Почему они не задумаются над этим?

— Да, да. Я и не заметил. Гм... как же это?.. А знаете, вы пришлите-ка мне свои книжки. Хорошо?

Книжки я ему не послал. Не смог. Видимо, потому же, почему не смог и читать.

Но он все же их прочитал. Два года спустя принимали в Союз писателей большую группу молодых литераторов. Среди них был и я. Всех нас пригласили на заседание приемной комиссии в правление Союза писателей РСФСР. С обзором наших книг выступил секретарь правления Николай Иванович Рыленков. Выступил, стремясь доброе сказать о каждом. Были добрые слова и о моих стихотворениях.

Хотелось тут же поблагодарить его. Но я почему-то не подошел к нему. Позже жалел, что не поблагодарил. И теперь жалею. Еще больше.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Выходной день	3
Лорда	5
Бабушка Щипика	11
Дед Поляк	15
Осенние радости	17
Ах, почему я не любил яблоч!	21
Через пятнадцать лет	25
Чистое	30
Побратимы	38
Воронежский вечер	41

Михаил Петрович Шевченко

ВОРОНЕЖСКИЙ ВЕЧЕР

Редактор М. М. Жигалова.

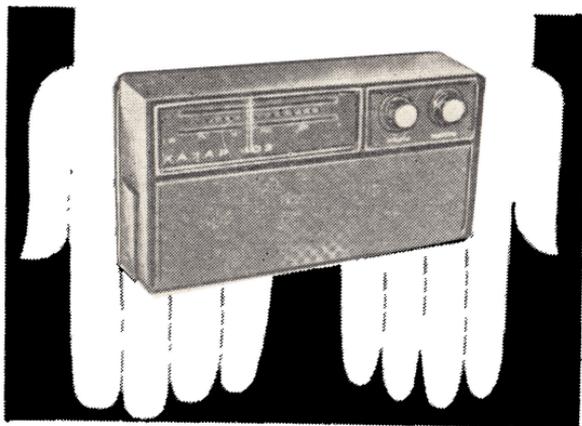
Технический редактор Е. Н. Щукина.

Сдано в набор 30.07.81. Подписано к печати 20.10.81. А 00448. Формат $70 \times 108^{1/32}$. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 2,82. Тираж 100 000 экз. Изд. № 2330. Заказ № 1051. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865. ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Цена 20 коп.

Индекс 70668



ХАЗАР-403

Простота и строгость отделки, чистое и естественное звучание, повышенная выходная мощность — качества, благодаря которым «Хазар» завоевал международный рынок.

«ХАЗАР-403» — переносной транзисторный радиоприемник, работающий в диапазонах длинных и средних волн.

Цена — 34 руб. 34 коп.

ЦКРО «Радиотехника»

